

graffiti

Светлана и Андрей КЛИМОВЫ



граффити

МОЯ СУМАСШЕДШАЯ



МОЯ БОЖЕВИЛЬНА

CF FOLIO

Светлана Климова
Моя сумасшедшая

«Фолио»

2010

Климова С.

Моя сумасшедшая / С. Климова — «Фолио», 2010

Весна тридцать третьего года минувшего столетия. Столичный Харьков ошеломлен известием о самоубийстве Петра Хорунжего, яркого прозаика, неукротимого полемиста, литературного лидера своего поколения. Самоубийца не оставил ни завещания, ни записки, но в руках его приемной дочери оказывается тайный архив писателя, в котором он с провидческой точностью сумел предсказать судьбы близких ему людей и заглянуть далеко в будущее. Эти разрозненные, странные и подчас болезненные записи, своего рода мистическая хронология эпохи, глубоко меняют судьбы тех, кому довелось в них заглянуть... Роман Светланы и Андрея Климовых – не историческая проза и не мемуарная беллетристика, и большинство его героев, как и полагается, вымышлены. Однако кое с кем из персонажей авторы имели возможность беседовать и обмениваться впечатлениями. Так оказалось, что эта книга – о любви, кроме которой время ничего не оставило героям, и о том, что не стоит доверяться иллюзии, будто мир вокруг нас стремительно меняется.

© Климова С., 2010

© Фолио, 2010

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	17
3	26
4	38
5	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Светлана и Андрей Климовы

Моя сумасшедшая

Герои этой книги, как и полагается, вымышлены. Однако не стоит забывать, что все вымышленное берется из жизни. Поэтому кое с кем из них авторы имели возможность беседовать и обмениваться впечатлениями. Прочие совпадения – досадная случайность.

Легкой жизни я просил у Бога...
И. Тхоржевский

Часть первая

1

– Там!

Возница ткнул узловатым кнутовищем в ту сторону, где чернело двухэтажное здание. Седок спрыгнул на горбатый булыжник, а линейка загремела дальше и вскоре свернула за угол. Припозднившийся командировочный поднялся на крыльцо, над которым мутно тлела нить пятисвечевой лампочки, толкнул дверь и вошел.

Воздух внутри был затхлый – и он с тоской вспомнил вольный дух оставшихся позади ночных полей. Безмолвно стоящий, как брошенный храм, сосняк, зеленую полосу неба на позднем закате и скрип коростеля в мокром бурьяне. То, что любил.

В поезде пили водку с молодым, сутулым, в рваной свите. После первой спутник ненадолго вышел из угрюмой задумчивости, и тогда командировочный спросил о том, что составляло цель его поездки. Впрочем, без любопытства и настойчивости.

Районное начальство прогремело в столичной печати с инициативой: повсеместно по деревням возвести многосемейные дома-общежития. Для колхозных фаланстеров маститый столичный архитектор в две недели слепил проект – насыпные бараки с плоскими кровлями, на двадцать семей каждый, с общей кухней, баней, столовой и площадкой для занятий физической культурой. С поголовной ликвидацией усадеб и мелких хозяйств по всей округе.

Обо всем этом приезжему предстояло написать очерк в «Вістях».

– Ну как тут, в ваших местах, строят эти... комдома? – поинтересовался он.

– Хрен они строят...

Ответ прозвучал глухо. Сутулый не отрывал взгляда от серого хлеба с салом на газетке, расстеленной на вагонной лавке. Кроме них, в вагоне было еще человек шесть, но те сгрудились в дальнем конце.

– А чего ж так? – удивился командировочный. – Я другое слышал.

– Так для кого строить-то? – костлявые плечи под свитой заходили, и попутчик, оглянувшись, потянулся к закуске. Черные щели ноздрей, заросшие проволочным волосом, хищно зашевелились. Он хотел добавить еще что-то, но тут паровоз отчаянно закричал, загромыхали цепи и буфера, и поезд стал тормозить, подтягиваясь к станции.

Водка начисто выветрилась уже на полпути к райцентру, который чугушка обошла далеко стороной.

В гостиничном вестибюле было темно, и приезжий постоял, привыкая. Наконец в дальнем углу закричала и заворочалась взлохмаченная тень. Тогда он спросил в темноту:

– Кто тут? Где у вас администрация?

Сообразив, что ночной гость не из простых, тень из угла захрипела в ответ и зашаркала в глубину помещения, на ходу повернув выключатель.

Лампочка, такая же, как при входе, предъявила обстановку: пяток канцелярских стульев вдоль стены, скомканное порыжевшее пальтецо, стол под пропыленным сукном с графином и чернильным прибором, понурый фикус в кадке, забитой окурками. Некрашенный пол давно не метен. Наверх вела лестница с неполным комплектом балясин в перилах, под ней – неосвещенный вход в коридор, где скрылся спавший на стульях. На стене над столом, как повсюду, – портрет, правее – выгоревший плакат с белозубой колхозницей в кумачовой косынке.

Командировочный придвинул стул, бросил на него пухлую командирскую сумку, которую повсюду таскал с собой, и расстегнул сильно потертую мотоциклетную кожанку. Под нею обнаружился серый свитер с высоким воротом. Серые же шевиотовые брюки ночного гостя были небрежно заправлены в высокие, явно заграничного происхождения, ботинки толстой коричневой кожи.

Спустя несколько минут из коридора под лестницей появилась дежурная – бойкая мешаночка лет сорока без малого. На ходу запахивая полы сатинового халата, стрельнула на приезжего наметанным глазом и, уже присаживаясь к столу, прикусила с угла бледную губу со следами морковного цвета помады.

– Ой, – продолжая игриво косить, проговорила она, – а я вас откуда-то знаю! Вы у нас уже останавливались?

– Нет, – ответил он, щелкая кнопками сумки. – Не приходилось. Вот мои командировочное и редакционное удостоверения. Отдельное помещение у вас, надеюсь, найдется?

– С этим у нас... – дежурная, продолжая строчить в книге учета, свободной рукой сделала неопределенный жест.

– Но все-таки? – настаивал мужчина.

– А где же ваш второй? – будто не слыша вопроса, удивилась женщина. – У вас командировочное на двоих оформлено!

Отведя глаза от небольшой, смуглой и крепкой руки приезжего, она быстро заглянула ему в лицо. Глаза у этого смутно знакомого ей откуда-то мужчины средних лет были как черные блестящие жуки, спрятанные глубоко под густыми бровями. Спокойный, из «симпатичных» – это она мгновенно определила, только белки налиты тяжелой краснотой, будто недосыпал неделю или больше. Имя ей ничего не сказал.

– Точно, – кивнул приезжий. – Юлианов утром подъедет. Партконференция.

– А вы, значит, Хорунжий Пэ Гэ будете?

– Буду, – усмехнувшись, подтвердил он, думая о том, что бумажка взята в редакции девятого, а в ночь на одиннадцатое за Павлом пришли. И хотя их квартиры располагались на одной площадке в писательском доме, дверь в дверь, никто не слышал, когда именно это случилось.

Хуже всего, что донос был написан рукой Тамары – его, Петра Хорунжего, жены. Это он знал достоверно, из первых рук. Павел был верным другом, самым давним. Единственным, а возможно, и последним, если не брать в расчет Сильвестра. Но Сильвестр слишком занят собой, смертельно напуган и одновременно дерзит властям. Полагаться на него в последнее время стало невозможно.

Тамара, конечно, донесла в бреду – из ревности, отчаяния, зависти, в ослеплении, бешено ненавидя. Она ревновала его ко всему: к работе, к новым и старым книгам, к литературной славе, к охоте, выпивке, ко всем без исключения пишбарышням в редакциях и издательствах, к друзьям и их женам. Но к Павлу по-особому.

Болезнь? Но разве болезнь оправдывает предательство?

И с этим уже ничего нельзя было поделать. Потому что он точно знал, чем для него закончится эта ночь в ста двадцати километрах от Харькова. Почему здесь? По крайней мере, никто

не сопит в затылок. Не заглядывает в рукописи, не звонит. Не таскаются по пятам обнаглевшие опера из ведомства Баляя.

Остро захотелось курить. Хорунжий полез в карман, где лежала смятая коробка одесских «Сальве», метнул папиросу в рот, прикусил мундштук, но закуривать не стал.

– Распишитесь, – сказала дежурная, пряча судорожный зевочек в кулаке.

Он наклонился над столом и поставил росчерк. От женщины душно-вато попахивало ночным потом.

По лестнице, скрипевшей басом, они поднялись наверх. В дальнем отсеке неосвещенного коридора дежурная на ощупь отперла дверь, зажгла свет и со значением, пропуская Хорунжего вперед, заметила:

– Тут у нас почти что «люкс». На двоих номерок, в самый раз.

– Благодарю, – приезжий огляделся. – А кипяточку у вас не найдется?

– Можно и кипяточку, – женщина, медля, потерлась худыми лопатками о косяк, как приبلудная кошка. – Только подождать придется. Уборная, если что, – прямо по коридору. Располагайтесь пока.

Из мебели в «люксе» имелись две солдатских койки, шаткий венский стул, стол, накрытый бурой клеенкой, несколько жестяных тарелок на подоконнике, там же – пара стаканов без подстаканников и забытая кем-то трехзубая вилка с костяным черенком. На столе валялись старые газеты. В чугунную раковину в углу капал кран, незанавешенное окно смотрело во двор. Под ущербной луной серебрилась кровля дровяного сарая. На отрывном календаре, прикрывавшем дыру в фанерной перегородке, стояло первое мая – красное число. Мускулистый пролетарий рвал бутафорские цепи, а сегодня двенадцатое, может, уже и тринадцатое.

Календарь был вроде тех, что появились несколько лет назад, когда в неделе было пять дней, а каждый день в году имел собственный порядковый номер. Номер этот до сих пор жирно печатали вверху листка, хотя неделя опять стала семидневной. Сегодня, следовательно, сто сорок третий день шестнадцатого года пролетарской революции. Иначе говоря – тысяча девятьсот тридцать третьего. Под календарем – клопные гнезда, как в любой из сотни райкомовских гостиниц, где ему приходилось ночевать.

Он откинул одеяло на койке. Простыня оказалась серой, волглой, но относительно чистой. Когда дежурная принесла латунный чайник, Хорунжий, поблагодарив, заметил:

– Сыро у вас тут. Как на болоте живете.

Женщина молча пожала плечами и принялась разглядывать заклепки на ботинках приезжего. Больше он к ней не обращался, словно перестал замечать, – раскладывал вещи, извлеченные из командирской сумки. Чистый блокнот, диковинную плоскую флягу с хромированным стаканчиком, непечатую коробку папирос, плитку прессованного чая в фольге, охотничий нож.

Наконец дежурная ушла, и едва ее шаги смолкли, приезжий вынул ключ, оставшийся в скважине снаружи, и запер дверь «люкса». После чего опустился на стул, без спешки закурил, цедя дым сквозь зубы, и закинул руки за голову. Глаза из-под полуопущенных темных, будто припудренных свинцом, век не отпускали газетный хлам на столе.

Он чуть не с порога заметил в ворохе старья ту самую, позапрошлогоднюю, от 28 апреля. Но прежде чем взять ее в руки, Хорунжий развернул хрустящую фольгу и ножом наковырял чайной крошки в стакан. Плеснул кипятку – и тут же спохватился: сахару ни пылинки, забыл, а взять негде. В местном распределителе, как и повсюду, сахарные талоны отоваривают слипшимися «подушечками». По сто граммов в руки.

Пока чай заваривался, все-таки потянул к себе мятые, приванивающие селедочным рас-соллом листы. Статья была на первой полосе в подвале, а справа, как помнилось, – колонка стихов к дате. Имена неизвестны, стихи плохи, зато пролетарского задора хоть отбавляй. Птенцы Филиппенко: рыжие, вечно взъерошенные, как перестоявшая кукуруза, с грязными обкусан-

ными ногтями и застывшим в насмерть перепуганных гляделках вызовом. Вся эта мелкая шипоть готова кому угодно в глотку вцепиться за своего «папашу»...

Ну вот, на месте, где ж ей быть... Заголовок – «Отруйна рідина», подписано – «Іван Шуст». Прямой донос и провокация, зато писано бойко, цветисто, разгонистой рукой. Через абзац мелькает фамилия Хорунжий в частокле вопросительных и восклицательных знаков. Страстная, можно сказать, публицистика.

Шуста этого, который в последнее время поник, затаился и перестал лезть на газетные полосы, Хорунжий знал давным-давно, с тех пор, как тот еще ходил в рабкорах. И печататься он начал не без его, Петра, поддержки. Певец индустриальной Украины, музыкальной стихии производственных циклов, а заодно беспристрастный критик и борец за чистоту рядов. Обычная слизкая гадина – тут и вопроса нет.

Хорунжий потянулся к привезенной из Германии самописке, но убрал руку. Достал из кожаных газырей сумки мягкий, остро отточенный карандаш – всегда писал ими, не любил чернил, – прищурился, целясь, и быстро, с нажимом, отчеркнул в статье несколько фраз. Раздавил окурочек в тарелке и вдруг подумал: «Все. Слава Богу, конец. Больше я для них не напишу ни строчки».

Отхлебнул из стакана горького, подернутого цветной, как пролитый в лужу газолин, пленкой чаю, с усилием проглотил и поднялся, чтобы пошарить в карманах куртки – за подкладку давно завалился мятный леденец в бумажке. Нашел, бросил в рот и сделал еще глоток, больше не размышляя о том, как погасить в себе суету и закончить этот день как должно.

Взгляд на часы – именные, в тяжелом золоченом корпусе, – подтвердил, что сорок минут назад наступило тринадцатое мая. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть горящие сухим огнем глаза. Но вместо этого он шагнул к окну, с треском рванул шпингалет и толкнул створку. Высунулся, наполняя прокуренные бронхи лунной свежестью, и внятно проговорил: «Это необходимо остановить!»

Потом повторил то же по-украински, потому что еще с детства мыслил на обоих языках. Никогда особенно не задумывался, отчего так происходит, однако писал только на украинском. Проза и публицистика принесли ему шумную известность, а всего две фразы из едкой статьи, которую удалось напечатать только на взлете славы, сделали личным врагом власти. «Омытая революцией, – так заканчивал он памфлет, – Украина глядит на нас из синей бездны будущего и зовет туда, в звездный Вифлеем... И что бы ни случилось – она неуклонно надвигается на нас...»

Романтическая отрывка, пафос слепого проповедника. Но и этого оказалось вполне достаточно в Москве, чтобы приписать ему националистическую *дулю* в кармане. Как враг неявный, замаскированный, но закоренелый и неисправимый, литератор Петр Хорунжий отныне был обречен на вычеркивание с последующей утилизацией. В порядке политической редакции.

А до того ему позволили порезвиться на коротком поводке и даже дали добро на опубликование нового романа – безусловно «пролетарского». Только затем, чтобы позже вырвать «чистосердечное раскаяние». Романа он не написал, да и не смог бы. В сущности, это уже ничего не меняло.

Двор под окном пересекла колеблющаяся тень, донеслись шаги, и он торопливо отпрянул от окна. Сердце подпрыгнуло и забилося между ключицами. Отпустило только тогда, когда донесся еще звук – по-бычьей мощная струя с тугим шумом ударила в доски забора.

Хорунжий усмехнулся бесчувственными губами.

Только теперь он заметил, что все еще вертит в руках липкую обертку от давно растаявшего леденца. Машинально разглядел: повыше названия «Театральные» проступал оттиснутый фуксином силуэт фасада здания. Того самого столичного театра, где они с Лесей и Тамарой в середине апреля сидели на очередной премьере труппы.

Пьеса начинающего драматурга дохромала-таки до сцены. Правда, режиссеру пришлось переписать половину реплик и ввести новых персонажей. Наивная ультрареволюционная аллегория, да еще с намеками на современные обстоятельства, при которых зрительный зал хоть изредка оживлялся. Второе действие Хорунжий пропустил: после антракта они с Сильвестром засели в буфете. Там наливали крымское ординарное, а своим – дешевый грузинский коньяк, и оба они порядком нагрузились под бутерброды с севрюжкой. Оттого и третий акт показался много живее, обозначилось сквозное действие, актеры очнулись, и где-то в середине Хорунжий поднялся с места и демонстративно захлопал в тишине, а за ним и остальная публика.

В финале была сдержанная овация, вызывали актеров и режиссера, перепало и автору.

Потом, как заведено, – стол за кулисами. Банкет. Народу набилось, как сельдей. Обычная для таких событий смесь: литераторы и функционеры, газетчики, несколько крупных военных, чины из ведомства Баляя – по долгу службы, труппа, постановочный цех, не известные никому мутные личности. Чествовали Сабрука, но львиная доля тостов и комплиментов досталась его новой приме, совсем юной, с загадочными узкими глазами, вспыхивавшими на сцене, как темные сапфиры, с бледным лицом, кошачьими скулами и высоко поднятой и закрученной в змеиный узел косой.

Вина имелось в избытке, стол соответствовал – не обошлось без высоких покровителей, и Хорунжий продолжал пить бокал за бокалом, постепенно набухая необъяснимым раздражением. И дело тут было не в горбуне Гаркуше, критике, бывшем дружке, с его пасторским долгополом пиджаком, и не в том, что тот, сидя рядом, с насмешливой и скорбной ухмылкой созерцал блюдо с пирожными буше и ни к чему не прикасался.

Сильвестр вскоре исчез с неизвестной пышнотелой дамой. Хорунжему удалось перехватить восхищенный взгляд Леси, устремленный на актрису, и она тут же почувствовала – обернулась с быстрой полуулыбкой к отчиму. Мгновенно, как бы замыкая цепь, полыхнули темные, матовые, с безумной косинкой глаза Тамары. Жена была затянута в синее креповое платье с рукавами-буфф, оставляющими на виду худые предплечья. Платье ей не шло, вдобавок она злилась, что ее усадили на противоположном конце стола, вдали от Петра.

В папиросном чаду мелькнул серый пористый нос, сложенные куриной гузкой мокрые губы. Плоскостопый и вислозадый, Иван Шуст скользил, как на лыжах, ухитряясь чуть ли не в одно время оказываться в разных концах помещения, подхватывая на лету обрывки разговоров, не предназначенных для его ушей, чутких, как у сторожевого пса.

Хорунжий потянулся с бокалом через стол – чокнуться со старым приятелем Булавиным, недавно занявшим пост ответственного секретаря в наркомате, но тут, как секач с лежки, с шумом поднялся туго вбитый в скрипучие ремни комкор, раскатисто потребовал тишины и, не спуская взгляда с примы, начал кудреватый тост. Однако на полпути сбился, побагровел и вместо заготовленного спича гаркнул здравицу, как на селянской свадьбе.

Иосиф Гаркуша рядом рассмеялся, а Хорунжий, которому волны хмеля то подбрасывали ни с чем не сообразные видения, то откатывались, возвращая к реальности, буркнул под нос, морщась: «Х-хос-спода гуляют!..»

Вспомнилось чье-то: «Аристократия всегда и везде похищает власть в своих интересах». Какая власть, какие интересы? Власти теперь нет ни у кого, и кто в конечном счете принимает решения – да хоть о выпуске того же спектакля или захудалой книжонки – покрыто мраком. Никто, будь он хоть трижды нарком или секретарь ЦК, ничего не решает, а значит, не имеет представления о том, что такое быть свободным. Даже здесь они, эти вольноотпущенники, с их персональными окладами, гонорарами, дачами и служебными авто, говорят, понижая голос и озираясь: не дай Бог вынырнет рядом какой-нибудь мизерный Шуст.

Ну что ж, человек рождается не по своей воле, вопреки своей воле бывает вынужден умереть и день за днем подчиняется навязанным ему обстоятельствам. Вся свобода – в том, чтобы хоть однажды разорвать эту убийственную цепь...

После полуночи гудящая, разгоряченная толпа, дышащая острыми закусками, табаком и сладкими дамскими духами, стала рассасываться. Группками по несколько человек вываливались из фойе, кое-кто через служебный подъезд в переулке – прямо в сырую апрельскую ночь. Фонари на Сумской, она же Либкнехта, горели через один; площадь перед театром и сквер с памятником Гоголю заволакивала дымная мгла. Милиционеры в белых нарукавниках у подъезда теснили «ванек», зазывавших седоков и мешавших отъехать двум-трем «эмкам» и роскошному, сверкающему никелем «бугатти» комкора. Наискось, в грузном здании Центрального банка, светилась желтым пара зашторенных окон в самом верхнем – третьем – этаже.

Ноги сами понесли Хорунжего от ярко освещенного театрального подъезда к скверу. За бордюром начинающего зеленеть кустарника прятались расположенные полукольцом чугунные скамьи, над ними нависали кроны старых лип. Рядом, как тень, возник Юлианов, которого не было видно во время банкета, и, когда Петр оступился, скользя по влажной брусчатке, – удержал, подхватил под руку. Слегка оттолкнув Павла, Хорунжий пробормотал: «Брось, порядок...», и оглянулся.

Тамару он заметил сразу же, дальше стучала каблукочками Леся. Еще несколько фигур пересекали площадь, отделившись от толпы, и среди них Петр отметил Шуста. Тот весь вечер упорно ловил его взгляд, но так и не решился приблизиться. Под руку с Иваном размахисто вышагивала Фрося Булавина – коротко стриженная, в шляпке колпачком и синем, туго стянутом в поясе макинтоше.

Хорунжий остановился перед постаментом с бюстом классика. Без приязни взглянул на черный, долгоносый, в потеках голубиного помета профиль, поморщился и вдруг спросил через плечо, заранее зная, что Шуст уже где-то здесь, рядом:

– Чуешь, Ванятка? Тебе кто твой опусы на машинке перестукивает? Евфросиния?

– Сам, – тут же отозвался Шуст. – Освоил.

– Ишь ты! – фальшиво удивился Хорунжий. – Молодца! А раз так, ты и объясни мне... ф-феномен. Вот сколько ни пробовал напечатать слово «Австралия» без ошибки – один черт выходит «Автсралия», хоть с разгону, хоть одним пальцем. Руки у меня, что ли, не по-людски вставлены?..

Хорунжий хохотнул, прикуривая из горсти, и с маху опустил на скамью. Крашенный чугун был сплошь в каплях измороси. Женщины остались стоять. Леся подняла ворот жакета, зябко поежилась, и он вдруг остро пожалел, что нельзя прямо сейчас ее обнять.

– Поменьше б этих ваших «Автсралий» – жили бы человек-человеком, – раздраженно буркнул Шуст, учуяв насмешку.

– Это как ты, что ли? – оскалился Хорунжий.

– Поздно уже, Петр, – вмешалась Тамара. – Хватит тебе дурачиться.

– А может, и в самом деле ну ее к ляхам? Кому она тут нужна, Австралия эта...

– Петр Георгиевич... – начал Шуст и тут же осекся, повел носом в сторону Юлианова.

– Чего тебе? Что ты все дурью маешься, Иван? – вдруг абсолютно трезво спросил Хорунжий. – И так все знаю. Хочешь совет?

Он умолк, малость помедлил, зная, что их разговор слышат трое: Тамара, Павел и Фрося Булавина.

– Тихо сиди, Ванятка. Вон – девушка у тебя молодая. Побереги ее. А в газетах больше не пиши – тебе же в вину поставят. Не пиши, говорю, не пожалеешь.

Шуст ссутулился, засопел, втянул шею в ворот пиджачка, словно заползал в раковину.

– Как же не писать? А партийная дисциплина? Кто ж позволит! Вы хоть соображаете, что говорите? – глухо возразил он.

– Ну, как знаешь. Вольному воля. Года три-четыре у тебя еще в запасе. А там – извиняй.

– Тьфу на вас! – негромко взвизгнул Шуст. Фрося, делавшая вид, что прогуливается поодаль, испуганно оглянулась.

Никто так и не заметил, откуда они взялись. Надо полагать, из зарослей у края аллеи, насквозь пронизывавшей сквер и заканчивавшейся другим памятником – Пушкину. Серые, нетвердые на ногах, безмолвные, в заскорузлом рванье, пропахшем мочой и потом. В ясных отблесках фонарей от театрального подъезда, в самом центре столицы, видеть их было вдвойне жутко: будто земля беззвучно расступилась, изрыгнув на поверхность коренных обитателей сырых и заплесневелых недр.

Их было всего десятка полтора, не больше, и подбирались они к хорошо одетым городским, занятым своим разговором, крадучись, отворачивая лица и горбясь, как псы, хорошо знакомые с палкой. Впереди, с трудом переставляя иссохшие ноги в разбитых сапогах с обрешеченными голенищами, двигалась женщина с замотанным в тряпки ребенком на руках. За нею – подросток в пиджаке с чужого плеча на синее костлявое тело, рукава болтаются до колен. За полу пиджака цеплялась девчонка лет шести, едва видная из ватной кацавейки. Остальные – кучкой, лиц не разобрать, только белки отливали желтизной, отражая электрический свет.

Хорунжий вскочил, сделал шаг навстречу женщине и неожиданно покачнулся, словно все выпитое за вечер разом ударило в голову.

– *Хліба, товаришу добродію!* – по-щенячьи затащил подросток. – *Хоч крихту. Бо мала зовсім конає!..*

Девчонка заскулила, и Петр, с трудом восстановив равновесие, стал судорожно рыться в карманах в поисках куда-то завалившегося бумажника. Наконец нашел, выгреб все, что было, и, звучно дыша, стал совать женщине:

– Вот! Возьмите! Хлеба сейчас все равно не достать, и не продадут вам без талонов – купите завтра с утра на Благовещенском с рук. Да берите же, что вы стоите!

Женщина, очевидно не вполне понимая, равнодушно смотрела на светлые бумажки червонцев. Потом вдруг подняла глаза на Петра и медленно улыбнулась беззубым провалом рта.

– Откуда вы? – оторопело спросил он.

Молча обогнув Хорунжего, женщина приблизилась к скамье, с трудом наклонилась и опустила на нее сверток с молчаливым младенцем. Выпрямляясь, со вздохом облегчения ответила:

– *З-під Першотравневого. Михайлівка – була така, може, чули?*

– Петр! – донесся голос Тамары. – Что ты делаешь? Это ж кулацкое охвостье, которое... Сказано было с тупым раздражением, и ясно читалось, что ей жалко денег.

Хорунжий бешено крутнулся на каблуках:

– Молчать, дура!..

Мелькнуло лицо Леси – испуганное, жалкое, совсем юное. Сердце мучительно сжалось.

Эти люди надеялись на хлеб, который сеяли, а у них забрали жизнь. Уже с момента выхода в прошлом августе указа «семь-восемь» стало ясно, что зиму не переживут сотни тысяч, и прикончила их январская директива Москвы, запретившая выезд селякам из Украины, с Кубани и Дона. А слепые и глухие не желали ни знать, ни видеть, как каждое утро за газетным киоском на углу Данилевского растет под рогожей штабелек голых, плоских, как ржавая тарань, или восково-желтых, раздутых, в черных вмятинах, – ночной урожай. И как в половине седьмого хмурые мужики из хозуправления грузят их, бросая, как поленья, на подводу, и увозят в неизвестном направлении. А о том, что в глухие зимние месяцы творилось по дальним селам, лучше и не поминать...

Будто темный зверь обгладывает свою добычу до костей.

Шуст тоже машинально нащупал в кармане купюру, украдкой глянул – не слишком ли крупная, и уже хотел было протянуть подростку, когда позади, у театра, залилась трель милицейского свистка. Скомкав деньги в потном кулаке, Иван сунул их обратно и сделал несколько быстрых шагов, как бы разрывая дистанцию между собой, Хорунжим и Павлом Юлиановым.

По брусчатке забухали подбитые гвоздями сапоги, но там, где только что маячили серые, наводящие тоску и тошноту тени, уже никого не было. Запыхавшийся старший наряда с ходу остановился, подсвечивая нагрудным фонариком и придерживая кобуру. Личности столпившихся у памятника не вызвали у него подозрения, и он скомандовал подоспевшему подчиненному:

– К лютеранской кирхе давай, налево! Туда, кажись, двинули, босота фуева...

Он уже повернулся уходить, но луч фонарика зацепил сверток на скамье.

– А это у вас тут что? Чье дите, граждане?

Хорунжий хотел ответить, но язык внезапно стал неповоротливым, как сырая резина. Он слышал, как рванулась Леся, как железной хваткой вцепилась в нее Тамара, и все равно вместо того, что должен, обязан был сказать, молча пожал плечами.

– Ребенок не имеет к нам никакого отношения, товарищ, – отчетливо проговорила Тамара.

– Ясно-понятно... – старший наряда нагнулся, присвечивая, и стал рыться в тряпках. Из свертка послышался слабый, едва различимый ухом скрип. Как бы уже и не человеческий, и не животный даже. Мелькнуло сморщенное, со слипшимися волосенками, с розовым родимым пятном-меткой на виске слева...

Хорунжий крепко зажмурился, открыл крупные желтоватые зубы и затряс взлохмаченной головой, гоня от себя призрак обжигающего, бессильного стыда.

Так бывает, он знал. Человек, в чье сознание вторгаются вещи ужасные, несоизмеримые с повседневностью, поневоле сужает пространство собственной жизни и гасит сознание, совесть, разум, оставляя одну инстинктивную заботу – о теле. Еще в гражданскую, совсем юным, воюя то на одной, то на другой стороне, он понял это раз и навсегда. Чужая рука выворачивает тебя наизнанку, и вместо крепкой и мужественной сути нутро заполняется болотной жижей.

За фанерной перегородкой, отделявшей «люкс» от соседей, кто-то заворочался, скрипя сеткой кровати, и вдруг тяжело захрапел. Потом умолк и заговорил во сне. Речь была бессвязная, прыгающая, ни слова не разобрать, как у мертвецки пьяного. Луна подседа к горизонту и теперь во все свои три четверти смотрела Хорунжему в лицо. Где-то неподалеку вдруг отхаркнулся и бойко затрещал мотор мотоциклетки, залились дворняги.

Он вздрогнул, будто наступил на гнилую половицу впотьмах, и в ту же секунду одним широким взмахом ему открылось – как позавчера брали Павла.

За ним пришли не трое, как обычно. Знали, что у него в письменном столе, как и у многих, кто отвоевал до последнего часа, спрятан «маузер». Поэтому, кроме троих на площадке, двое поднялись этажом выше, а внизу, у машины, топтались еще несколько – на случай, если «объект» вздумает оказать сопротивление.

Первым делом, предъявив ордер, потребовали оружие. Одного, немолодого, с двумя «шпалами» в краповых петлицах, Павел знал: не раз вместе выпивали на охоте, поэтому просто кивнул на стол – мол, сами возьмите. Был готов, догадывался, как оно будет, наперед и сохранил полное спокойствие. Просто ждал, пока закончится обыск и его увезут. Единственное, что его удивило – небрежность, с которой оперативники досматривали рукописи и письма.

Майю к нему не подпустили, но без грубости отконвоировали к машине, усадив между двумя красномордыми в энкавэдэшных буденовках. Старший занял место рядом с водителем, и машина отъехала. До Совнаркомовской было рукой подать, но вместо этого водитель вдруг начал петлять по городу.

Наконец остановились в глухом переулке близ Журавлевских склонов, и Павлу приказали выходить. Он не удивился, потому что, когда стало ясно, что везут не на Совнаркомовскую и даже не на Холодную Гору, понял все. Успел только поглубже вдохнуть запах прошлогоднего бурьяна, печной золы и помоев из нищего жилья. Позади завозились, он оглянулся в темноте – а в следующую секунду пуля из конфискованного «маузера» раздробила основание его черепа.

На следующий день у Майи не приняли передачу, хотя Павел и числился в списках содержащихся во внутреннем изоляторе, и теперь стало окончательно ясно почему...

Ослепительная ясность картинки вызвала резь внизу живота.

Хорунжий ткнул окурочек в тарелку, повернул ключ и вышел в коридор, прикрыв за собой. Пришлось сразу же вернуться: темень, хоть глаз коли, а фонарик лежал на самом дне полевой сумки вместе с завернутым в чистую тряпицу короткоствольным револьвером «бульдог» и пятью патронами, похожими на финиковые косточки. Павел смеялся над этим курносим оружием, поддразнивал – мол, такие до революции таскали на шнуре квартальные, но даже он, самый близкий, не знал, что дело не в том, каков револьвер. «Бульдог» достался ему от полковника Вышиваного, когда в восемнадцатом Петр на несколько месяцев прибил к сечевым стрельцам, стоявшим под Херсоном.

Вышиваный – вот кто был настоящим аристократом, нищезанцем и поэтом. В действительности его звали Вильгельм Франц фон Габсбург-Лотринген. Титул эрцгерцога Австрийской империи не мешал ему считать себя природным украинцем. Петр Хорунжий бредил стихами – как каждый третий грамотный в ту пору, на поэзии они и сошлись.

Еще одна тень из эпохи, которая, затуманив мозги и омрачив сердца, внезапно исчезла, сменившись чем-то много худшим. Когда трагическое предчувствие гибели потонуло в ощущении старения и распада.

С дареным «бульдогом» Хорунжий не расставался все эти годы, таскал с собой даже на охоту вместе с меркелевским штуцером с комбинированными стволами, вызывавшим всеобщую зависть. Но о его происхождении помалкивал: и без того период с семнадцатого по двадцатый в его анкете, подшитой в личном деле, выглядел слишком пестро.

Подсвечивая фонариком, он уверенно направился в дальний конец коридора, не забывая отсчитывать двери в сплошной перегородке справа. Шел на отчетливую аммиачную вонь, но, когда был у цели, на звук его шагов приоткрылась дверь номера напротив, уронив косую полосу света на серые половицы. В щели мелькнуло худенькое белобрысое существо лет двадцати с небольшим. Собранная у горла ситцевая ночная сорочка, жидкие волосы на ночь заплетены в косицы и перевязаны розовыми ленточками. Водянистые глазки робко жмурятся, лобик наморщен.

– Извините, – пискнуло существо и вдруг ахнуло: – Не может быть! Ваша фамилия случайно не Хорунжий?

– Случайно нет, – сухо произнес он, отступая. – Ошиблись, гражданочка.

В нужнике затопало, звякнула разболтанная задвижка. Затем в коридор выплыла коротко стриженная брюнетка в цветастом крепдешине. От женщины крепко шибало духами «Ландыш серебристый» и портвейном, в зубах была зажата погасшая папироса. Под платьем вольно плескался тяжелый бюст.

– Кто тут? – начальственным баском осведомилась брюнетка, и Хорунжий тотчас увидел ее в синих кавалерийских галифе и сшитых по мерке скрипучих сапожках.

– Я здесь, Неточка! Сюда! – взволнованно прострекотала белобрысая. – Товарищ просто ждет очереди.

С подозрением оглядев фигуру Хорунжего, брюнетка с неожиданным проворством юркнула в свою дверь, и та мигом захлопнулась.

По звукам голосов, по едва уловимым знакам Хорунжий с привычной пронизательностью прочитал все, что связывало этих двоих. Ошибки быть не могло: сейчас они заберутся в сырую постель, под одно одеяло, и вернуться к прерванным утехам, которые скрывают от всего света. Белобрысая – учетчица из райстатуправления, брюнетка – лектор из системы партучебы, но то, что свело их, что мучит, морочит, приводит в восторг и заставляет забывать обо всем, – тайна без объяснения. Наподобие его собственной.

Батарея в фонарике едва дышала, и обратно пришлось возвращаться в темноте. Нащупывая дверь «люкса», он припомнил: кажется, Бодлер говорил, что смерть похожа на гостиницу, где каждому усталому путнику забронирован номер. Там ждут его ужин, постель и сон.

Но на самом деле он не испытывал никакой усталости. Наоборот – трезвая ясность, отрешенность и отчетливое ощущение странности окружавшего его видимого мира. Сейчас он различал каждую деталь той машины, которая переехала их жизни, его и Лесину, и продолжала свое неумолимое движение. Так грязная угольная баржа надвигается на причал, сложенный из глыб серого гранита. А вокруг до горизонта – белая озерная вода под низким холодным небом.

Присев к столу, он потянул к себе блокнот, чтобы по привычке зафиксировать короткое, как вспышка магния у местечкового фотографа, видение. Но раздумал. Вместо этого вырвал листок и размашисто написал:

«Что касается ада, то его не существует. Как некоторые и рассчитывают. По крайней мере такого, каким мы его себе представляем. Есть нечто иное, и не в какой-то там запредельности. Измученной и насквозь испорченной душе просто дают от ворот поворот – возвращают в земную реальность «набирать очки» для спасения. А поскольку грешное тело уже гниет в земле, приходится искать незанятую жилплощадь. Где? Да в одном из все еще живущих и тоже наделенных бессмертной душой человеческих существ. Скажете, занято место? И да, и нет. Внутри всегда найдется потайная каморка для постояльца. Там и придется кое-кому отбывать Бог знает какой срок. Такое вот правосудие. И не нам знать, в чем здесь справедливость.

Сам носитель двух – а вдруг и трех, и четырех? – сущностей понятия об этом не имеет. Может быть, его подпольные «постояльцы» и могут иной раз обрести независимость, но лишь окольным путем – через сумрачные лабиринты подсознания, в особых состояниях слабости, переутомления, разочарования и апатии, подавляющих «хозяина». Именно в такие минуты люди во всех отношениях достойные совершают непредсказуемые, невероятные и ничем не объяснимые поступки, обычно абсолютно им не свойственные. В том числе и преступления. И что на самом деле важно: по высшему счету они не несут за них ответственности. Потому, вероятно, и остаются безнаказанными многие злодеяния, в том числе и самые кровавые.

Доказательства? Никаких. Кроме единственного, как бы статистического: живущих на земле куда меньше, чем умерших на протяжении истории нераскаянных мерзавцев...»

Хорунжий отбросил листок и усмехнулся. С какой целью он все это пишет? Кому собирается подать знак: не все безнадежно? Так или иначе, а всего через несколько дней все ляжет в папку следственного дела с пометой «Хранить вечно».

Ну что ж, будет работа грамотеям из спецотделов. Те, кто сейчас занимается его судьбой, убеждены, что вечность – это их измерение. А на самом деле у них нет даже времени. Время – выдумка тех, кто живет в неволе, фантом их надежды, боли и отчаяния, и только для них оно имеет смысл. Мертвым и тем, кому еще предстоит родиться, оно безразлично. И какие бы цифры ни стояли в календарях, он, Петр Хорунжий, литератор эпохи индустриализации и социалистического строительства, существует только здесь и сейчас, а с историческим временем покончила революция. Понадобится что-то вроде Страшного Суда, чтобы снова сдвинуть с места махину загустевшей, как холодный мучной клейстер, истории.

Обо всем этом он думал рассеянно, с таким же спокойствием, как о собственной смерти. Смерть – единственный и неотразимый аргумент, и когда никаких других доводов не остается, годится и этот. Главное написано, добавить больше нечего. Каплей больше, каплей меньше – стакан все равно полон до краев.

Он помял в ладонях шуршащее трехдневной щетиной лицо, тронул чайник – вода еще тепловатая, и вдруг решил побриться.

Выплеснул остатки чая в окно, налил чистой, достал из сумки палочку бритвенного мыла, помазок и старую золингеновскую бритву со сточенным за давностью клинком, взбил в тарелке пену. Карманного зеркала на месте не оказалось, и пришлось действовать ощупью.

Покончив с бритьем, он отвинтил крышку фляги, налил в горсть слабой, ядовито пахучей «казенки» и ополоснул горящую кожу, как будто это еще имело значение. Провел тылом ладони по гладкой щеке, коснулся подбородка, откинул назад густую волну темных волос надо лбом – и внезапно одним слитным каким-то чувством стало жалко всех: Лесю, Павла, себя, и других, кого знал и любил когда-то. Даже Тамару, прикрученную к нему арканом слепой и мелочной страсти, больше похожей на ненависть.

Как будто все. Хорунжий сгреб газетный мусор и отшвырнул в угол, сунул в сумку флягу, блокнот, бритвенные принадлежности, а вместо них выложил на липкую, заеложенную чужими локтями клеенку сверток в синем селянском платке. Сквозь платок проступали темные пятна ружейной смазки. Бережно распеленал, понявчил револьвер в ладони, отправил в барабан два патрона и провернул его с маслянистым щелчком.

Ему понадобилось время, чтобы заново привыкнуть к оружию. Затем он откинулся на спинку стула. Жуя мундштук папиросы и щурясь от дыма, ощупал горло, оттянул ворот свитера, в котором не раз выезжал на озера и стоял на тяге, и неожиданно подумал, что стрелять-то надо не прямо в грудь, а снизу, из-под диафрагмы. Охотничье чутье подсказало: снизу, наискось, много надежнее. Даже в упор револьверная пуля может скользнуть по плоскости ребра, и тогда все придется начинать сызнова.

Понял и другое: от одежды придется избавиться. В прошлом, о котором Хорунжий сейчас не желал помнить, он видел множество ран от стрельбы с близкого расстояния, особенно через шинель и тулуп. Однажды ему самому пришлось таким же образом убить человека, и тогда из раны торчали грязные опаленные клочья, воняющие пороховой кислотой.

Прислушиваясь к возобновившемуся за перегородкой храпу, он не спеша стащил с себя свитер, дернул ворот нижней рубахи – отскочила и канула в сумрак под железной койкой желтенькая пуговица. Немного посидел полуголый, шевеля пальцами в ботинках, и снова потянулся за револьвером. Примерился – как оно, снизу? – и вздрогнул, едва ледяной металл коснулся ямки под ложечкой.

Он и сейчас не ощущал смерть как конец, итог, исчезновение материи и энергии любви, из которых состоит человек. Скорее – как временный уход, потерю некой части себя, подобие самоампутации. Так зверь, угодивший в капкан, отгрызает лапу, чтобы вырваться на волю.

И тем не менее, прежде чем взвести курок «бульдога», он с сожалением взглянул на бледно-голубоватую, покрытую мурашками озноба кожу на груди, на дорожку спутанных волос, начинавшуюся повыше брючного ремня, на сухие изюмины сосков. Потом уселся надежнее, развел колени, слегка наклонился вперед, к столу, плотно прижал ствол к подреберью, придав ему нужный угол, и большим пальцем, от себя, нажал спусковую скобу.

Выстрела он не услышал, так как был слишком сосредоточен на том, чтобы все сделать правильно. Поэтому не почувствовал и боли – только тупой тычок, как бывает, когда в темноте, в сенах, наткнешься на брошенный кем-то держак от лопаты. Пуля пробила плевру, аорту, правое предсердие и вышла наружу, расщепив кость лопатки.

Крохотная частичка несгоревшего пороха, вылетев из ствола после отдачи, угодила под левое веко Петра Хорунжего, и вместо ожидаемой тоскливой муки расставания с жизнью он вдруг почувствовал сильнейший зуд, непереносимое жжение под веком.

Это ощущение на миг пересилило все остальные. В мозгу застучал на стыках рабочий поезд под Сумами, когда он, подросток, высунулся на повороте из окна: духота в набитом вагоне была адская, и в глаз вместе с паровозным дымом влетел уголек. Точно так же потоком хлынули слезы, но сейчас не было рядом матери, чтобы спасти от жгучей слепоты.

Так, весь в слезах, он и провалился в бурую, клубящуюся и подсвистывающую тьму. Неотличимую от той, откуда уже несколько лет подряд ему являлся семнадцатилетний парнишка с грачиным профилем и длинными волосами, схваченными на затылке пестрым шнурком.

Который знал почти все о том, что случится дальше.

2

Муж почему-то вернулся из города не на служебной машине, а рабочим поездом.

Пыльный пятивагонный состав останавливался на разъезде «15-й километр» трижды в день: в шесть утра, в тринадцать сорок и в семь вечера.

Неожиданно заметив сквозь колышущуюся тюлевую занавесь на окне его фигуру у ворот, Вероника Станиславовна живо представила, как на станции Андрей пружинисто спрыгнул с подножки на платформу и пригородный тут же лязгнул сцепками и тронулся. Затем, чтобы сократить дорогу, он свернул в редкий сосняк – напрямик к мосту через речку Уды. Его осанистое сильное тело уже начало грузнеть, но муж, ловко балансируя и минуя провалы в шатком настиле, частично разворованном местными на топливо, вскоре достиг противоположного берега и без остановки поднялся по косогору. Оттуда начиналась тропа, протоптанная вечно спешащими дачниками.

Яблони отцвели совсем недавно.

Дача Андрея Любомировича Филиппенко была куплена шесть лет назад, задолго до нашумевших судебных дел, когда на скамье подсудимых оказались многие из соседей по поселку. От природы чуткий и предусмотрительный, Филиппенко выбрал дом на отшибе, а когда в поселке начали одна за другой расти новые госдачи столичного начальства, еще больше привязался к своему уединенному загородному пристанищу.

Сама Вероника в приобретении дома не участвовала – у них только что родилась двойня – мальчишки, и волнений хватало без того. Андрей только сообщил, что купил недорого, и не у кого-нибудь, а у Рубчинских, которых она знала по прошлой жизни. Еще подростком дочь Рубчинских Юлия брала у нее уроки актерского мастерства, а первый муж Вероники Станиславовны был в дружбе с этой семьей. В ту пору она была ведущей актрисой в труппе и – правда, всего год – женой знаменитого Ярослава Сабрука, главного режиссера и руководителя театра. Прошло десять лет, как она ушла от Сабрука к Андрею, и ни секунды потом не жалела. Ни о театре, ни о тяжелом, казалось, неистребимом чувстве к Сабруку, ни о других, кто ее любил и ненавидел. Андрей в ту пору был нищим, как церковная крыса, бездомным, в его жизни все еще только начиналось. Однако он сумел ее убедить, что без нее у него ничего не получится.

Задержавшись на ходу перед трюмо, Вероника Станиславовна легко тронула свои пышные белокурые волосы и сбежала вниз, к входной двери, – встретить мужа. Обе дочери и близнецы играли с няней в глубине сада – там, где на солнечной восточной стороне участка Андрей после поездки на Памир возвел решетчатую, напоминающую пагоду беседку. В отличие от многих коллег-писателей муж не держал собак, не жаловал охоту, был равнодушен к рыбной ловле, оружию, автомобилям – ко всем этим мужским забавам. Не любил больших площадей, театров, разговоров о политике и своих учеников. Его привязанности ограничивались женой, детьми и загородным домом. Для души – хорошее вино, живопись, цветы. Все это у него здесь было. А в городе – постылая служба.

Было так тихо, что даже через цветные стекла террасы она слышала смех детей в саду и перебранку соек в корявых ветвях старой груши. В солнечном луче, брызнувшем из проема распахнутой двери, лицо Филиппенко показалось ей утомленным и осунувшимся. Он был небрит.

– Андрюша! – прижимаясь к мужу, воскликнула Вероника Станиславовна. – Вот так сюрприз! Я не ждала тебя так рано! А у меня две новости: во-первых, с обедом придется немного подождать. А во-вторых – сегодня ночью он умер.

– Я знаю...

– Откуда? Ведь тебя не было целых два дня...

– Вероника! – Андрей Любомирович отстранился и взглянул на жену с укором. – Может быть, ты все-таки дашь мне войти в дом?..

А еще он очень любил свою мать Елизавету Францевну, урожденную Кондрусевич, умершую год назад и похороненную на местном кладбище. По материнской линии Елизавета Францевна происходила из знатного, но обнищавшего польского рода, получила образование в Германии, была добра, но вспыльчива и строптивая, и не изменила себе даже тогда, когда сдуру вышла замуж за красавца-интеллигента Любомира Филиппенко, преподавателя одной из киевских частных гимназий. Тот сочинял драмы в стихах на родном языке, был фантастически скуп, страдал черными запоями, быстро состарился и скоропостижно умер в одну из холодных выюжных зим. Елизавета Францевна, читавшая в той же гимназии литературу, после смерти мужа бедствовала и вынуждена была бегать по частным урокам. В конце концов они с десятилетним сыном перебрались к родне в Вильно. Матери он был обязан всем, что знал и умел, а когда в начале двадцатых она ринулась спасать кого-то там из подвалов чрезвычайки, буквально зубами вырвал ее из чекистских лап. Судьба к тому времени занесла их в Полтаву, и Андрей, комиссаривший в конце гражданской, теперь ходил в небольших советских начальниках. Пришлось экстренно перебираться в Харьков, от греха подальше. С тех пор он больше не отпускал мать от себя.

Они прошли в кабинет, где в простенке между книжными шкафами висел портрет Елизаветы Францевны, написанный скандально известным Чаргаром, иначе говоря – художником Казимиром Валером, с которым Андрей Любомирович близко сошелся в тех же двадцатых, в самом начале своего восхождения на литературный Олимп.

Муж обессиленно опустил в кресло у письменного стола, а Вероника устроилась на кушетке напротив.

Прикрыв ладонью горящие, будто песком засыпанные, глаза, Андрей Любомирович вдруг вспомнил, как отец во хмелю, намеренно гнусава, запевал: «Лизавет-т-а, Лизавет-т-а, я люблю тебя за эт-т-а...», а мать, откидывая гладко причесанную голову и сверкая глазами, вскрикивала: «Вы пошлый дурак, Филиппенко, и ничем не отличаетесь от нашего дворника!»

– Вероника, – негромко проговорил он, убирая ладонь, – выслушай меня внимательно. Арестован Юлианов. Вчера ночью застрелился Петр Хорунжий... Где дети?

– С Мариной Ивановной в саду... – растерялась она. – Ты наверняка знаешь? Это правда, Андрюша?

– К сожалению.

– А ты?

– Что – я? – не понял он.

– У тебя будут неприятности? Ведь это твои... Вы же вместе, в одном, как говорится, котле...

– Что ты выдумываешь, Вероника? – Андрей Любомирович поморщился и стал растирать ноющий висок. – При чем тут я? В последние годы у нас не было ничего общего. С Хорунжим я изредка виделся в издательстве, а с Юлиановым у меня отношения и без того были натянутые... Мама бы ужасно расстроилась – они с Павлом дружили...

– Что с ним будет?

– Откуда мне знать, Вероника. Я не Господь! – насупился Филиппенко. Он всегда говорил с женой начистоту, хотя и считал это ошибкой. – Юлианов играл с огнем. Много себе позволял... Ты помнишь, как называла его мать? «*Останній янгол їхньої революції*». Ну вот и случилось... Говорят, нарком Шумный тоже исчез...

В дверь кабинета резко постучали, и Андрей Любомирович, вздрогнув, оборвал себя на полуслове.

Заглянула кухарка Настена, широколицая рыхлая баба.

– Обедать готово, Вероника Станиславовна! – трагически сообщила она, будто речь шла о землетрясении.

– Иду, – Вероника махнула на нее рукой и поднялась, расправляя складки домашнего платья. – Жду тебя в столовой через десять минут.

Уже у двери она оглянулась. Статная, все еще мужественная фигура Андрея Любомировича обмякла, а красивую крупную русоволосую голову будто стальным рычагом пригнуло к полированной поверхности письменного стола. Пол качнулся у нее под ногами.

– Андрюша! – отчаянно воскликнула она.

Муж повернул к ней пепельное лицо и одними губами спросил:

– Что?

– Ты не уедешь сегодня?

Он не ответил. Вероника Станиславовна быстро, стараясь ступать совершенно бесшумно, вышла из кабинета.

Когда дверь за женой закрылась, Андрей Любомирович зябко повел плечами и потянулся к серебряному портсигару – подарку Петра Хорунжего, но остановил себя. Уже несколько лет, как он взял за правило не курить до еды. И крохотная победа над собой немного утешила его – значит, нервы держат. Петр – да, тот курил беспрерывно. И Казимир, правда, только тогда, когда бывал пьян сверх обычного... Лохматого без табака вообще представить невозможно. Безбожно чадила матушка, зато Юлианов не прикасался, должно быть, потому, что когда-то был студентом-медиком, но табачный дым ему нравился... особенно, когда курила Майя... А Хорунжий в молодости до страсти любил семечки, пиво и раков... Страшно вспомнить это пиво – сущая моча, да еще и прокисшая...

Что за чепуха лезет в голову!.. Петр, Павел – Андрей Любомирович судорожно усмехнулся. Оба запросто бывали у Шумного. В его квартире на Сумской, в кабинете в наркомате – куда смертным дорога заказана. Куда его, Андрея Филиппенко, вождя целого литературного направления, главного редактора того и сего, руководителя крупнейшего издательства, приглашали только через курьера. А ведь стартовали в этом забеге с одной линии – в разбитых сапогах, затерханных пиджачках и куцых шинельках, полуголодные, веселые, наглые. Потом разбежались по разным углам, однако – верно заметила Вероника – «в одном котле варились»... Что с того, что Хорунжий стал первым номером в их поколении? Мы с ним никогда особо не жаловали друг друга, хоть с двадцать девятого и жили в одном писательском доме. Страстный и наивный, он все еще как бы стеснялся своей славы. Хотя были и есть писатели много, много талантливее и глубже... Павел, его ближайший приятель, его тень, – вот странная фигура, и не понять, почему мать всегда ему симпатизировала и безоговорочно доверяла. Году в пятнадцатом был московским студентом-медиком с растрепанными кудрями, застенчивым и миловидным, как девушка. Уже в революцию, вдруг всплыла легенда, поползли жуткие слухи. Прошло не так уж много лет, и Юлианов сделался молчаливым, предельно жестким и начисто облысел. Потом эта история со Светличной... Я и сам не мог смотреть на Майю без замиранья сердца – а кто мог? Но Павел ухаживал за ней и до, и после того, как она овдовела, и добился-таки своего – они стали жить вместе. И вот его взяли – ночью, прямо из постели.

Между прочим, двери Хорунжих смотрят прямо на дверь квартиры Светличных. Павел – первый, Петр – второй. Кто следующий?

Андрей Любомирович тяжело поднялся и вышел из кабинета. Умывальник в смежной с их просторной спальней комнатке был полон теплой воды. Не без намека на полочке под овальным зеркалом лежали безопасная бритва, помазок, душистое мыло, привезенное из последней командировки в Берлин. Он тщательно вымыл руки, секунду поколебался, но все-таки побрился и ополоснул «Шипром» щеки и подбородок. После чего снова взглянул в зеркало.

Вторая победа за последние четверть часа. Он и в этом пересилил себя. Нельзя распускаться, не время.

Уже приближаясь к белой двустворчатой двери столовой, Андрей Любомирович услышал детские голоса и осторожные смешки няни. Остро запахло свежей огородной зеленью. Внезапно он почувствовал, что до неприличия голоден, и его породистое лицо вспыхнуло. Grimаса мучительного раздражения, как это часто случалось в последнее время, исказила его крупные черты и тут же пропала...

Обедать, оказывается, предстояло не в семейном кругу: была гостья.

На столе, в центре накрахмаленной полотняной скатерти в грубом глиняном кувшине стояли цветы – полосатые тюльпаны, мелковатые, но необычайной окраски. Андрей Любомирович едва сумел скрыть досаду: луковицы этих, полосатых, он вместе с другими сортами привез из самой первой заграничной командировки. Долго колдовал над ними в тепличке, запрещая домашним даже приближаться к своим сокровищам, и вот – пожалуйста!

Что касается гостьи, то ею оказалась их соседка по поселку, молодая жена самого Баляя. Вероника относилась к ней, как к старшей дочери, и Юлечка Рубчинская, как правило, обедала у них, когда приезжала на дачу, принадлежавшую особоуполномоченному ОГПУ. С того времени, как она неожиданно вышла за одного из высших руководителей всесильного ведомства, вокруг нее образовался как бы заколдованный круг, мертвая зона, и Вероника Станиславовна по доброте душевной взялась опекать Юлию.

Да и гостьей ее можно было назвать только с натяжкой – в этом доме она знала каждую щель, каждую половицу, с ним была связана не только ее собственная юность, но и жизнь нескольких поколений когда-то известной в городе и состоятельной семьи.

Но сегодня ее появление было некстати.

Их с Балием бракосочетание состоялось день в день с похоронами матери Андрея Любомировича. На протяжении многих лет Рубчинские были дружны с Елизаветой Францевной, и то, что они не смогли или не пожелали приехать и проститься с покойной, оставило в его душе горький осадок. Возникшее неприязненное чувство он отчасти перенес и на их младшую дочь. Прежде Юлия гостила у них часто, иногда вместе с родителями, и Андрей Любомирович всегда с удовольствием видел ее легкую, подвижную фигурку, слышал негромкий грудной смех, раздававшийся то в саду, то на террасе. От девушки шло светлое тепло. И сама она – вряд ли он мог ошибаться – любила его семью.

Однако за последний год младшая Рубчинская разительно изменилась: фиалковые глаза поблекли, рыжеватые пышные волосы были по-дамски уложены в замысловатую прическу, губы подкрашены, на руках тонкие кольца с крупными камнями. Она стала строже одеваться, почти всегда молчала, а когда к ней обращались – вежливо и точно отвечала на вопрос собеседника. Смеялась Юлия также крайне редко.

Чем она теперь занимается, Андрей Любомирович не знал и никогда не интересовался. А сейчас ему и вовсе было не до того. Мельком взглянув на замкнутое лицо молодой женщины, он кивнул и проследовал к своему обычному месту за столом – спиной к цветным витражам террасы, прямо напротив Вероники.

При детях ни о чем говорить было нельзя, и Филиппенко, через силу выдавив благодушную улыбку, произнес:

– Счастлив видеть вас, Юлия Дмитриевна. Как чувствуют себя ваши родители?

– Благодарю, – прозвучал сдержанный ответ. – Папе уже лучше. Готовятся к приезду сестры.

– Вот как! – Жена наполнила обливную миску крошкой, и он сразу же придвинул ее к себе. – Софье Дмитриевне все-таки удастся приехать? Стоит ли в такое время... – Тут он спохватился: – Я имею в виду: ведь у нее, кажется, маленький ребенок?

– Иначе невозможно, – негромко проговорила Юлия. – Что касается времени, то его не выбирают, Андрей Любомирович. Сестра хочет повидаться с нами. Характер у нее, знаете ли... настойчивый. Да и племяннику моему уже два года.

– Безрассудство, – Филиппенко обвел взглядом скромно сервированный обеденный стол. – И вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Вашей сестре по крайней мере известно, что тут далеко не Европа? Если не ошибаюсь, она ведь достаточно давно покинула родину.

– И она, и ее ребенок будут обеспечены всем необходимым на протяжении тех двух недель, в течение которых Соне разрешено находиться в Харькове. Муж об этом позаботится. Как и о том, чтобы она не увидела того, что здесь происходит...

Андрей Любомирович предостерегающе вскинул ладонь, останавливая гостью. Однако дочерей и няни в столовой уже не было, только близнецы доклевывали компот. Вероника без всякой надобности передвигала посуду на столе, тарелка ее оставалась почти нетронутой. Никто как будто не слышал этого их разговора...

Ему неожиданно остро захотелось выпить. Чего-нибудь легкого, красного, прохладного. Андрей Любомирович поковырял вилкой второе, поднялся и сообщил жене, что намерен спуститься в погреб. Пусть они его подождут – он скоро вернется, и с бутылочкой. Есть повод.

В последние годы у него образовался неплохой запас напитков. Из Крыма ему привозили прямо с завода красное «Магарач № 55», неплохой массандровский портвейн, белое «Шато-Икем», «Красный камень» – любимый мускат Вероники. Из Грузии через московских знакомых поступали столовые вина. Имелось и кое-что покрепче. В запирающейся нише при нужной температуре хранились десятка полтора заграничных бутылок.

Филиппенко выбрал легкое кахетинское, протер слегка запылившуюся бутылку специально для этой цели висевшим здесь полотенцем и, тщательно проверив запоры, поднялся с вином наверх.

В опустевшей столовой гремела Настена, собирая посуду на поднос. Вероники не было видно, а у полуоткрытого окна курила Юлия. Только сейчас Андрей Любомирович заметил, что молодая женщина в темном, почти траурном платье с глухим воротом – не по погоде. Фигура ее по-прежнему оставалась стройной и женственной. Когда в тишине хлопнула не прикрытая им дверь – в столовой и на террасе гулял сквозняк – Рубчинская вздрогнула и обернулась. Затем погасила папиросу, смяв ее в тяжелой хрустальной пепельнице, а саму пепельницу зачем-то перенесла на стол.

– Вашу жену вызвали к телефону, – проговорила Юлия, глядя, как Филиппенко достает из буфета бокалы и бережно откупоривает вино. – Откуда вы узнали, что у меня сегодня день рождения?

– Вспомнил, – нашелся он, нисколько не смутившись. – Однажды в этой столовой мы праздновали ваше восемнадцатилетие, Юленька. Еще при жизни моей мамы. Четырнадцатого мая тысяча девятьсот тридцатого – так? Я подарил вам свою книгу, уж и не помню какую. У вас было светлое платье и коса, как нимб...

– Верно. – Она скупно усмехнулась. – В одном вы ошиблись. Год был двадцать девятый; сегодня мне исполнилось двадцать два.

– Товарищ Балий вас поздравил?

– Нет. Я еще не видела мужа. Его срочно вызвали рано утром. Вы в курсе того, что случилось?

– Да. Не нужно об этом, – поморщился Филиппенко. – Во всем и без нас с вами разберутся...

– Я не люблю ночевать на этой даче, – сказала она, – однако Балий так решил, и вчера поздно вечером мы приехали в поселок. А утром Настена принесла нам молоко и сообщила, что ваш сосед умер...

– Ей-то откуда знать? – удивился Андрей Любомирович.

– Все только об этом и говорят.

– Вот как... Что ж, личность по-своему знаменитая... – разговор приобрел неприятный оборот, и он повторил: – Разберутся.

– Его нашли на рассвете, – упрямо продолжала Юлия. – Дверь осталась незапертой. У него в кровь разбито лицо, и сразу же возникло подозрение, что это – убийство. Ну кому, спрашивается, он мог помешать? Мой отец ему симпатизировал, иногда помогал деньгами. Он очень огорчится... – она вопросительно взглянула на Андрея Любомировича. – Знаете, как Настена говорит? «Дёрзкий был, но добрый... и всю жизнь один как перст»...

– А по водам не ходил? – Филиппенко хмыкнул. – Вот так, моя дорогая, и рождаются литературные биографии. Они же мифы. А каков человек был на самом деле – не доищешься. Я...

Он замолчал – в дверях возникла взволнованная и слегка растрепанная Вероника Станиславовна.

– Андрюшенька! – воскликнула она, пылая лицом и не замечая присутствия Рубчинской. – Звонил Сабрук и битых четверть часа истязал меня... А что я могу знать? Пришлось соврать, что ты в городе... Он буквально вне себя, требует подробностей, утверждает, что...

– Вероника, – застонал Филиппенко, – остановись! – Как ни любил он жену, сейчас эта актерская экзальтация казалась нестерпимой. – Давайте все перестанем сходить с ума! Проси Юлию Дмитриевну к столу. Подай фруктов, конфет. Или что сама сочтешь нужным.

– Какие конфеты! Ярослав сказал – это начало конца, – не унималась жена.

– Все! – Филиппенко шагнул к ней, взял за плечи и встряхнул. – Все! Отдышись, моя милая, и ступай. Мы тебя ждем. Я устал и не имею ни малейшего намерения рассуждать об этих материях...

С первого же бокала он неожиданно захмелел.

Женщины – Андрей Любомирович окинул обеих мутноватым взглядом – молчали, и ему показалось, что и та, и другая за что-то его втайне осуждают. Вероника, статная, с полной белой шеей, окольцованной нитью крупной персидской бирюзы, осторожно постукивала отполированным ноготком по краю опустевшего бокала и не отрывала взгляда от винного пятнышка на скатерти. Именинница в своем модном трауре – с высоко поднятыми плечами, с неглубоким вырезом, открывавшим нежную яремную ямку над ключицами, вертела в тонких пальцах погасшую папиросу.

– Слишком много курите, Юлия, – с неожиданной резкостью произнес он. – Товарищ Балий не запрещает?

– Вячеслав Карлович и сам курит.

– И что вы нашли в нем такого особенного? – Он взялся за бутылку, чтобы разлить остатки вина себе и жене. Приподнял бокал, взглянул на свет. – Юная, прелестная, образованная... Да что уж теперь... С днем рождения!

– Вам, Андрей Любомирович, отлично известны наши обстоятельства, – спокойно ответила Рубчинская. К вину она так и не прикоснулась. – Зачем же спрашивать? Мой отец в прошлом был юристом у Юхновского в Центральной Раде. Происхождение мамы и ее взгляды для вас также не тайна. Сестра много лет живет в эмиграции...

– Насколько я помню, между вами, сестрой и братом большая разница в возрасте. – Разговор снова принял неприятный оборот, и Филиппенко уже был не рад, что его завел. – Мне не приходилось их видеть.

– Сестра старше меня на восемь лет, Олег – на десять.

– Он... он тоже... там? – Филиппенко залпом, не чувствуя вкуса, допил вино.

– О его судьбе нам ничего не известно. Брат ушел из дома, когда ему не было и двадцати. Мама считает, что он решил пробираться к сестре, которая в то время жила в Варшаве, в доме бабушки, и училась. До войны мы всей семьей каждую осень подолгу гостили у нее...

Собственно, из-за брата все это и началось... Нет, я не сужу Олега. При всей его ненависти к новой власти, идеализме и бешеном эгоизме. Такой характер. Он мечтал стать юристом, как отец, а здесь после ухода белых царил голод, разруха и террор. Вы, Андрей Любомирович, приехали сюда в двадцать четвертом?

– В конце двадцать второго.

– Ну, это неважно... – Рубчинская потянулась за папиросой. Филиппенко чиркнул спичкой, дал ей огня и прикурил сам. – Были упорные слухи, что брат ушел с частями Деникина, но это вранье. Я хорошо помню, как закрыли гимназию, а учащиеся вместе с босяками из трудармии стали что ни день гонять на расчистку развалин в районе заводов... А когда в декабре тридцатого отца арестовали вторично, наша семья была уже окончательно и бесповоротно нищей. Даже без собственного угла. Мы все ютились у маминой близкой подруги, возле Сумского рынка, ее еще не до конца уплотнили. Лишь спустя два года папа нашел место, и родители получили ордер на две смежных комнаты в коммуналке – достаточно просторных, даже с балконом... К Балию на прием я пошла, когда уже никакой надежды не оставалось. Даже те, кого мы считали самыми близкими, обходили нас десятой дорогой... Всех, кто был арестован вместе с папой, отправили в ссылку...

– Но ведь обошлось? – перебил Андрей Любомирович.

– ...А он продолжал сидеть в подвале на Совнаркомовской, – упрямо продолжала она. – Багий принял-таки меня, и выяснилось, что адвокат Рубчинский проходит по совершенно другому делу. И судьба его решается не здесь, есть и повыше товарища Багия – это его слова. Я ушла ни с чем. А через пару недель папу освободили, и Вячеслав Карлович вплотную занялся мною.

– Бог мой, дорогая, какие ужасы вы рассказываете! – всплеснула руками Вероника. Андрей Любомирович поморщился, но сдержал себя. – Ни о чем таком я и не подозревала. Знаете, я даже издали побаиваюсь смотреть на вашего мужа.

– Не так уж он и страшен, – возразила Юлия. – Обычный стареющий мужчина. Не без комплексов. С путаной биографией – я и по сей день не знаю, есть ли у него родня. Твердолобый. И не думаю, чтобы он когда-либо был счастлив.

– Однако при больших чинах. Может себе кое-что позволить, – Филиппенко издал короткий смешок.

– А вы? – Юлия поднялась со стула. – Вы разве бедствуете, Андрей Любомирович?

– Где уж нам, Юлия Дмитриевна, с нашим носом калину клевать. Мы люди маленькие. – Он с сожалением покосился на опустевшую бутылку. – Я, например, даже напиток как следует не могу... Уже покидаете нас? Жаль, очень жаль... И все-таки – вопрос, или, как у актеров говорится, «реплика на уход». Вот вы, насколько я понимаю, вышли замуж... вынужденно. А дальше-то?

– Вы что, собственно, имеете в виду? – Рубчинская, уже стоявшая на террасе, обернулась и в упор взглянула на Андрея Любомировича.

– Любовь, что ж еще, – произнес он с неизвестно откуда взявшейся злостью.

– Мои родители останутся в живых и не будут голодать. Отцу, если диагноз все-таки подтвердится, сделают операцию в Москве, а может, и в Праге. Если объявится Олег и его арестуют, то сразу не расстреляют. И Соне позволят приехать и беспрепятственно выпустят обратно. У вас больше нет вопросов?.. Тогда извините – за мной вот-вот должна прийти машина.

– Дорогая, погодите, я провожу! – Вероника Станиславовна порывисто шагнула к госте. – У меня для вас маленький презент... И цветы, цветы не забудьте! Андрюша, подай, пожалуйста...

Он неподвижно следил за тем, как женщины покидают столовую. Юлия, так и не сочтя нужным проститься, шла с вызывающе прямой спиной, вполголоса обращаясь к жене. Веро-

ника... Глядя на нее, Андрей Любомирович вдруг вспомнил, как неистово добивался ее, сколько ушло на это сил и как он был счастлив, когда она наконец-то сдалась.

У двери жена обернулась, взмахнула тюльпанами и укоризненно взглянула на него. С кончиков стеблей на светлые ясеневые доски пола капало.

– Андрей, ты сегодня словно с цепи сорвался, – еще не войдя, начала Вероника Станиславовна.

– Не повышай голос, пожалуйста!

– Чем тебе девочка-то не угодила? – продолжала она, но уже сдержаннее, подходя и наклоняясь к мужу. – Чем? Тем, что пытается спасти близких? Ты просто не способен понять, какая это жертва для женщины!

– Я не доверяю этой твоей... девочке. Сядь, выслушай спокойно. Неужели ты не понимаешь, – Андрей Любомирович развернулся вместе со стулом, – что Балий использует жену? Она бывает не только у нас. У ее близких обширные знакомства среди интеллигенции...

– Чушь, – перебила Вероника Станиславовна. – Тебе прекрасно известно, что Юлия живет в клетке. Назвать ее золотой – язык не поворачивается. Мне искренне жаль ее. Она в кино без его разрешения сходить не может. Сидит взаперти, как деревенская старуха. И отпускают ее только к родителям.

– Шла бы на службу. Работают же жены наркомов.

– Да что с тобой творится! Откуда эта злость, Андрюша?..

– А откуда Рубчинская узнала о Хорунжем? От Настены? Да кто в это поверит!.. – Он понизил голос до драматического шепота.

– При чем тут Настена? – удивленно проговорила Вероника Станиславовна, осторожно касаясь его плеча. – Юля в дружбе с Лесей, его падчерицей. И если бы она знала, мне бы первой сказала...

– Первой... Не трогай меня, Вероника!

– Ну, совсем расклеился. Успокойся, Андрей, возьми себя в руки! – Вероника Станиславовна нахмурилась. – Погоди... Я, кажется, понимаю... Господи, да ведь ты все на свете перепутал! Юлия говорила о совершенно другом человеке – нашем здешнем соседе...

– Что за сосед?

– Бушмак.

– Этот пьяница?

– Очнись! Какой пьяница? Ты же сам каждый день видел его с балкона – дома-то почти напротив!

– Так это Зюк? Черт!.. – Андрей Любомирович ошеломленно заморгал. – Он ведь, кажется, не голодал, Настена что ни день туда носила... Книги брал... Вот так номер! Он же моложе меня...

Юзик Бушмак, по-местному Зюк, жил бобылем в полуразвалившейся хате на том же краю поселка, где стояла бывшая усадьба Рубчинских. Это соседство стало предметом торга, когда Андрей Любомирович обсуждал с адвокатом условия покупки. Покосившаяся серая развалюха с мутными стеклами, щербатым порогом со следами топора и постоянно распахнутой настежь дощатой дверью портила красоту холмов и речной излучины, так славно вписывавшейся в оконный проем его будущего кабинета.

«Да что вы такое говорите! А кто, по-вашему, присмотрит за домом, когда вы зимой переберетесь в город?» – возмутился адвокат и повел Филиппенко знакомиться с Зюком. Тогда запомнились только пронзительно синие глаза, бритое желтое лицо с ввалившимися щеками и растерянная улыбка, когда они обменялись рукопожатиями. Зюк оказался предельно скуп на слова и довольно чисто, хоть и бедно, одет.

«Кто он такой, – поинтересовался Андрей Любомирович, когда они с Рубчинским вернулись на дачу, – и почему там все так запущено? Ведь вроде не больной, не немощный?» «Душа-двойник, – последовал загадочный ответ, – а такой душе все едино. Да вы не думайте, Бушмак – неплохой человек. Ему чужого не надо». – «А родня?» – «Мой покойный отец, – усмехнулся Рубчинский, – рассказывал, что эта хата стояла здесь и тогда, когда никаких дач не было. Ни частных, ни государственных. Зюк здесь и родился, а мать его умерла родами. Об остальных ничего не известно. Тогда, конечно, все выглядело иначе. Вы заметили – вокруг был большой сад. Яблони за баней видели? Анисовка. Старые, наполовину высохшие, но все еще плодоносят». – «Сад этот сильно смахивает на джунгли, а считать баней два десятка сгнивших бревен я категорически отказываюсь». – «Не знаю, не знаю, – пожал плечами адвокат, – лично мне Зюк по душе, мы с ним всегда ладили. У него золотые руки, поверьте, и дом когда-то, был как картинка в журнале «Поместье и усадьба» – помните такой?.. Все меняется, не один Бушмак...»

Разговор с Рубчинским примирил Филиппенко со странным соседством. Сколько их, нищих, заброшенных, с темной судьбой, роется под корой жизни.

– Значит, умер, – повторил Андрей Любомирович. – Это неожиданно. Почему? Он что – до сих пор там?

– Да. – Жена быстро взглянула на окно и отвела взгляд. – Пришлось детей весь день держать в саду. Из местных никто не приходит – боятся. А нашла его Настя, еще утром. Понесла поесть, как обычно, а он на полу, лицом вниз. Весь в крови. Как-то все это... жутко.

– Надо звонить в город Охрименко, – дернулся Андрей Любомирович. – Нельзя же так оставлять!

– Я как подумаю, – не слушая, прошептала жена, – что он там совершенно один...

– Охрименко пришлет людей. Нужно же похоронить по-людски. А хату – к дьяволу, на дрова. Вместе с баней, чтоб глаза не мозолила.

– Не вмешивайся в это, Андрей, – твердо проговорила Вероника Станиславовна. – И вообще ни во что не вмешивайся. Откуда нам знать, как и почему он умер. Юлия – она Бушмака помнит с детства – уже звонила с дачи в районный отдел. Потом заплатила поселковым, и те пришли и переложили его на кровать. Может, это и не по правилам, но милиции нет и нет. Она и свечи в изголовье зажгла...

– «Дёрзкий!» – пробормотал Филиппенко. – А я-то решил, что она о Петре...

Жена взглянула с недоумением.

– Давай сегодня уедем отсюда, Андрюша, – неожиданно попросила она, хватая его за руку. – Позвони в гараж.

– А дети?

– Дети останутся с няней.

– Нет, Вероника. Не хочу я никого ни видеть, ни слышать. Вся эта кутерьма вокруг Хорунжего. Звонки за полночь, трескотня, охи, вздохи... Кто-нибудь из моей банды полупьяной явится непременно... Нет, утром поеду. И один.

– Не бросай меня!

– Успокойся, дорогая, – Андрей Любомирович коротко приложился к мягкой щеке Вероники Станиславовны. – И выкинь из головы этого человека – лежит себе и лежит. Покойся, так сказать, с миром.

Неожиданно ему пришло в голову, что он и сам не знает, кого имеет в виду – едва знакомого отшельника-соседа или того, кого когда-то считал другом и соратником. Поэтому добавил:

– Все равно тебе не сегодня завтра придется ехать в город. Я в комиссии по организации похорон. Тут уж не отвертись.

3

Андрей Любомирович оказался прав.

Днем позже его жена уже примеряла в спальне городской квартиры соответствующее моменту платье. Блестящий аспидно-черный шелк, но, к сожалению, чересчур открытое. Для траурной церемонии не годится. Она любила легкое, светлое, и это платье – в прошлом вечернее, для выходов в театр и концерты, – было в ее гардеробе единственным.

Перебрав все, что попало под руку, Вероника Станиславовна отложила платье в сторону. Пожалуй, придется остановиться на темной кружевной шали и черных перчатках к серому костюму из тонкой шерсти. Букет бледных тепличных лилий, ненакрашенный рот – достаточно. До отъезда на кладбище нужно еще успеть выпить кофе и позвонить на дачу – как там дети.

Соседа Бушмака похоронили вчера в полдень. Прибывшая поздно вечером группа оперативников – ведь случилось не где-нибудь, а в соседстве с дачами двух наркомов и секретаря ЦК – установила, что смерть была естественной и мгновенной: остановка сердца. Этим и объяснялись ушибы и ссадины на лице покойного. «Зарыли Зюка, – шмыгая, сообщила Настена, – как шелудивого пса. И отпеть некому, попа днем с огнем не достать». Вероника Станиславовна выдала три поллитры казенной, сдобных сухарей и леденцов – пусть поселковые помянут.

Тем временем Андрей Любомирович стоял в почетном карауле у гроба.

В актовом зале писательского клуба были распахнуты все двери, ряды плюшевых кресел и ковровые дорожки убраны. А на подиуме, среди бутафорских венков, вянущей на глазах сирени и нарциссов, смиренно лежал тот, кто напоследок сумел-таки взорвать оцепенение столицы.

Впервые лицо покойного Филиппенко увидел сверху и слева, и в этом необычном ракурсе оно показалось ему помолодевшим, замкнутым и скульптурно завершенным, будто последнее принятое решение раз и навсегда стерло все лишнее. Эту мучительную выразительность, избыточную подвижность черт отмечали многие, относя ее на счет постоянно взвинченных нервов, а в последнее время и алкоголя. Теперь Петр казался спокойным – вот чего ему никогда не хватало при жизни.

Одного взгляда оказалось достаточно. Андрей Любомирович отвернулся и больше не смотрел: как раз отсюда, слева, был хорошо заметен кровоподтек, бурое пятнышко на белке глаза самоубийцы, наполовину прикрытого вспухшим желтым веком. Эта крохотная деталь, не имеющая уже никакого значения, пугала и отталкивала.

В остальном все шло, как полагается.

За время, отведенное для прощания, у гроба побывало партийное и советское начальство – не из высших сфер. Далее – те, кто считал себя единомышленниками покойного, потом гурьбой пошла разношерстная литературная и журналистская братия, актеры, художники – кто знал, любил и ценил. Простая публика в ожидании топталась перед входом – неожиданно огромная, растекшаяся до угла Пушкинской толпа. Однако последовала команда с самого верху – с прощанием уложиться в сорок минут, и без десяти десять тяжелые двустворчатые дубовые двери писательского клуба, знаменитые своей затейливой резьбой, были закрыты для посторонних.

Утром Андрей Любомирович, сделав над собой значительное усилие, поднялся в квартиру Хорунжего, чтобы выразить соболезнование вдове – Тамаре Клименко. Одно дело официальная церемония, и совсем другое – соседство по подъезду. Звонок был отключен, и пришлось осторожно постучать. Дверь на мгновение приоткрылась и тут же захлопнулась. В щель он едва успел разглядеть Тамару.

Пришлось ретироваться ни с чем.

И сейчас она никого к себе не подпускала со словами утешения. Отворачивалась, как от пустого места. Она простояла рядом с мужем все то время, пока тяжелый, обитый крепом и кумачом гроб устанавливали на подиуме, пока члены комиссии распределяли дежурства, пока ждали приезда руководства. Потом ее отвели к оставленным в углу креслам, где, согласно регламенту, полагалось находиться близким покойного. Ее костистая, заметная издали фигура сразу съежилась, обмякла под мешковато сидящим черным платьем, измученное лицо исказилось, и Филиппенко успел заметить, как Тамара оттолкнула руку дочери, протянувшей ей платок.

Их, родственников Хорунжего, кроме жены, было всего трое. Он сразу узнал среди них мать Петра. Сходство было бесспорным – те же густые брови, тот же смуглый и чистый лоб, шляхетская осанка. Падчерица, Олеся, бледная, с непокрытой головой, не отрывающая глаз от паркета. Ее жених Никита держался поодаль. Простодушное, со здоровым румянцем, лицо этого широкоплечего и, видно, физически очень сильного парня выглядело вконец расстроенным.

Время, отведенное для прощания, заканчивалось, и зал понемногу пустел; молчаливой чередой потянулись к выходу члены комиссии, следом персонал начал выносить венки. Шестеро заранее назначенных литераторов – из тех, что помоложе, подняли гроб с подиума, и Петр Хорунжий неспешно поплыл к ожидавшей у входа полutorке с опущенными бортами, задрапированными кумачом.

Филиппенко вышел на воздух в числе последних и взглянул на часы.

Небо было высокое, синее, как дрезденский фарфор, и без единого облачка. Поэтому, когда оркестр школы Красных старшин грянул Шопена, музыка эта, полная сиплых вздохов и медных восклицаний, показалась совершенно неуместной.

Полutorка тронулась, и толпа, постепенно растягиваясь, повалила следом. Процессия направлялась к старому кладбищу – не к тому, которое лет пять назад снесли подчистую, вымостив на его месте черным диабазом громадную площадь перед зданием Госпрома, а к Первому городскому, вдоль трамвайной колеи. Мимо облупленных фасадов старых доходных домов на Пушкинской, недостроенных общежитий, через пустырь, за которым торчала наглухо заколоченная кладбищенская церковь, – к главным воротам. Многие шли по тротуарам, но и без того процессия растянулась на квартал, надолго остановив трамвайное движение.

У входа на кладбище теснились легковые автомобили, большинство с ведомственными номерами, и молча толпился народ. Толпа с каждой минутой росла, но кладбище было оцеплено двойным кольцом милиции, и на территорию никого не пропускали.

Перед тем как пройти за ворота, распахнувшиеся, чтобы пропустить полutorку с гробом, Андрей Любомирович задержался у входа и отыскивал взглядом Веронику. Жена стояла у машины, переговариваясь с водителем. Он сразу же направился туда, чтобы отвести ее к остальным женщинам – к тем, кого она хорошо знала. На кладбище будут Майя Светличная и Фрося Булавина – невеста Ивана Шуста. Шуст, как и сам Филиппенко, состоял в комиссии, и вряд ли бы это обрадовало покойного.

Зная, что на кладбище повсюду расставлены люди Баляя, он, уже миновав милицейский кордон, вполголоса предупредил жену держать язык за зубами, избегать разговоров с незнакомыми, а когда все кончится, не задерживаться и ждать у машины.

Кроме того, ему предстояло в числе первых произнести прощальное слово.

Сам полпред ОГПУ по Украине, которому знающие люди уже прочили пост наркома внутренних дел, находился недалеко от свежевырытой могилы, но как бы в стороне и, казалось, никакого отношения не имел ни к этой могиле, ни к своим подчиненным, ни к тому, что творилось за воротами кладбища. Вячеслав Карлович присутствовал как частное лицо. В плаще, несмотря на теплую погоду, застегнутом на все пуговицы, в светло-коричневой фетровой шляпе, твердо насаженной на острую лысеющую макушку и затеняющей лицо полями.

Рядом стояла его молодая жена как бы в полутрауре – темная кружевная косынка, оттеняющая медный блеск пышных волос, рука, прижимающая букет к узкому бедру, обтянута черной лайковой перчаткой.

И ее, и Вячеслава Карловича исподтишка разглядывали – Юлия все время чувствовала на себе внимательные и настороженные взгляды. Не удивительно – едва ли не впервые она появилась на людях с мужем. Отца и матери здесь не было и быть не могло, хотя родители высоко ценили книги Хорунжего и его самого знали достаточно близко. Сразу после похорон Юлия собиралась отправиться прямо к ним: врачи все еще настаивали, чтобы отец не выходил из дому, и это ее тревожило. Она поискала знакомые лица среди тех, кто получил пропуска на кладбище, – народ начал подтягиваться к валу из венков, окружившему глинистую яму, – и увидела Олесю Клименко. Девушка стояла в стороне от всех.

В этом не было умысла: спускаясь по широким ступеням писательского клуба, Леся угодила каблуком в трещину между гранитными блоками, оступилась и подвернула ногу. Никита тут же подхватил, довел до чьей-то машины, усадил и отправил, а сам вернулся к Тамаре и матери Хорунжего и вместе с ними шел за гробом.

«Эмке» пришлось двигаться в объезд, но все равно они далеко обогнали траурный кортеж. У ворот кладбища к машине бросился, козыряя на ходу, милиционер. Распахнул дверцу, а заметив, что девушка прихрамывает, вежливо предложил проводить. Олеся отказалась и заковыляла по главной аллее. Единственное, чего ей сейчас хотелось, – остаться одной.

Через некоторое время на аллее показался разукрашенный полотнищами кумача грузовик. За ним к месту захоронения вразброд тянулась избранная публика. Однако Олеся не спешила присоединиться к тем, кто пришел сам или был назначен участвовать. Щиколотка распухла, но уже не ныла, и обморочная желтизна удлиненного, слегка цыганистого лица девушки была вызвана вовсе не этой болью. Она провела ночь без сна и держалась из последних сил, чтобы не предать Петра слабостью или слезами до самого конца.

Девушка закрыла глаза и изо всех сил сжала кулаки. Ногти до крови впились в ладони. Господи, как же она ненавидит их всех: и ближних, и дальних. Никто не удержал его, не остановил – ни один! Она знала, что это невозможно: он всегда все решал сам, но ведь наверняка был хотя бы крохотный шанс!.. И проститься с Петром ей тоже не дали. Тело доставили в морг Института судебной экспертизы, а из морга – прямо в писательский клуб. Кто одел его, кто последним видел его плечи, маленькие сильные кисти, родинку на правом запястье? Кто последним поцеловал его упрямо сжатый рот?..

Не она...

Неожиданно приехала из Полтавы бабушка, вся в черном, молча обминала углы, исподлобья скорбно поглядывала на нее; матери не было дома с утра четырнадцатого. Олеся собиралась на рынок в надежде раздобыть ранней зелени и – как ей давно хотелось – творога. Петр должен был вернуться дня через три, и тогда бы она улучила момент и все ему сказала... Уже на пороге бабушка позвала ее к телефону, и, пока она коротко говорила с Никитой, вдруг прижалась лицом к ее спине и всхлипнула. Леся обернулась, весело чмокнула ее и побежала вниз.

Никита ждал на углу. Не здороваясь, он грубо брякнул: «Хорунжий застрелился!» – «Какой Хорунжий? – она, не понимая, вопросительно смотрела на его красное злое лицо. – Ты врешь. Мне сказали бы первой...» – «Твой отчим умер... Леся! Дай руку! Куда ты? Я ни в чем не виноват. Твоя мать просила сообщить...» – «Убирайся! – закричала она. – Лучше бы ты молчал. Лучше бы я никогда ничего не знала!..»

Потом ее от всего отстранили. Заставили сидеть у себя в комнате и сходить с ума. Мать за два дня стала похожей на головешку с пожарища. Все время что-то бессвязно бормотала, взгляд ее тупо блуждал, а когда кто-нибудь приходил, бросалась к вошедшему с криком: «Как он мог? Как посмел!?» Потом постучалась маленькая Майя Светличная, вошла, присела на краешек постели, сверкнула изумрудными глазами и произнесла: «Петр был следующим. А

Тамару не суди. Позаботься о своем будущем. Тебе, девочка, нужно как можно скорее уезжать отсюда»...

Леся оторвала глаза от земли под ногами – сухая хвоя, космы тонкой травы, мелкий мусор.

Площадка вокруг могилы уже до отказа заполнилась людьми. Стоял красный с черными фестонами ящик, в котором восковой куклой в атласной упаковке, весь в мятых цветах, лежал Петр. Однажды он сказал, что умирать необходимо, что после смерти человек возвращается к самому своему началу – и ему больше нечего скрывать от мира: ни слабость, ни страх, ни собственную подлость, ни желания.

Невыносимо было смотреть в ту сторону. Чтобы не выдать себя, Леся исподлобья огляделась.

Она сразу же заметила Юлию Рубчинскую, давнюю приятельницу, еще со времен музыкальной школы. Нынешняя Юля... Ее кружевные перчатки, дорогой костюм, белолицый, с намечающимся брюшком мужчина в широкополой шляпе, тесно стоящий рядом, – все это было тем, о чем Петр, посмеиваясь, говорил: *«Рід розпадається, а клас стоїть»*. Мужа Рубчинской он называл *«хижак остроголовий»* и не судил Юлию: *«Вона помилилася. Твоя, Леся, колежанка, схожа на всю Україну – хай недобре, аби живі...»*

Неожиданно встретившись взглядом с Рубчинской, она вздрогнула: все что угодно можно было прочесть на этом тонком чистом лице, только не скорбь. Они обе знали – смерть ничего не меняет, любовь не умирает вместе с человеком. И тот, кто стоит рядом с нею, пряча лицо под шляпой, к ее любви не имеет отношения.

Однажды Петр рассказал ей о муже Юлии. Дело было на охоте – травили кабана по чернотропу, и Хорунжему выпал стрелковый номер рядом с Балием. «Азартный, почище меня, – Петр шурился, что-то недоговаривая, стряхивал пепел с папиросы. – Весь раскрывается, но вдруг замечает, что что-то не так, свирепеет и тут же напяливает эту свою непроницаемую личину. Пот не просох на лбу, а глаза уже каменные, руки не дрожат, и упаси Господи промажет – никому мало не покажется... Мне даже не по себе стало... А после охоты – под водочку, как заведено, – мы малость побеседовали с Вячеславом Карловичем. Поначалу он полез было ко мне в душу, это у него профессиональное. Я отшучивался, а потом вдруг понял – кто он. Ты удивишься. Особоуполномоченный ОГПУ, шишка, ему наркомы и секретари ЦК не указ. Но и этого мало. Он, понимаешь ли, решил, что самого Бога держит за бороду. Все они там, в больших кабинетах, верят, что распоряжаются ключами от рая. Спрашивает с укоризной: что ж вы тут, письменники, все к лешему прошляпили? Что именно, извините? – интересуюсь. – А, говорит, Мессию. – Кого-кого? – удивляюсь. – Мессию, – и кивает. Чем вам чека не коллективный Мессия? Блок, поэт, уж на что не наш, и тот догадался... – Тут я вдруг разозлился. До Блока мне дела нет, говорю. Мало ли что ему в голову взбрело. Иисус-то ведь не приходил – или у вас другие сведения? – Смеется вполне искренне. А потом: вот вы как будто неглупые люди. Не все, правда. Но неужели ж вы и в самом деле думали, что революционный вихрь сметет весь старый хлам, а потом на чистом, так сказать, поле само собой восстанет Царство Божие? Без нас? Роковое, знаете, заблуждение. Без нас вам никак не справиться...»

Она вздрогнула: бесшумно приблизился Никита и бережно взял ее под руку.

– Сейчас начнут, – шепнул он. – Как ты, Олеся?

Она не ответила. Его рука была теплой и надежной. Она уже позволяла ему обнимать себя, но ни разу они не были близки по-настоящему. Никита и в самом деле оказался лучшим из всех ее сверстников – выбор Петра был безошибочным.

Именно тогда они с Хорунжим впервые по-настоящему поссорились, и тут на глаза ей попался Никита. От того, что она обратила на него внимание, он окончательно потерял дар связной речи. Хотя и говорить им было особо не о чем, оставалось целоваться. Никита оказался неловким, очень добрым и милым. Леся узнала, что его родители живут в России, где-

то за Уралом, а сам он заканчивает здесь сельскохозяйственную академию. Петр Хорунжий был в приятельских отношениях с мужем Никитиной тетки. Звали его Федор Степанович, он был отличным ветеринаром, а заодно – страстным охотником. Непонятно, как уж это в нем совмещалось.

А познакомились они с Никитой сразу после того, как Фрай, щенок спаниеля, принадлежавший Юлианову, подхватил чумку. Фрай уже едва дышал, когда было решено возить его к Федору Степановичу. Одолжили машину у Булавина, за руль сел Юлианов, рядом Петр, а на заднее сиденье – Леся со щенком, завернутым в шерстяной платок. Неизвестно, почему оба ее спутника всю дорогу отпускали шуточки и хохотали, тогда как Леся, держа на коленях умирающего пса и едва не плача, осторожно гладила его, трогала горячий, в шершавых корках, нос и уговаривала подождать.

К счастью, приехали быстро – ветеринар жил в ближнем пригороде. Дверь открыл рослый, угрюмого, как ей показалось, вида парень и тут же принял у нее Фрая. Это и был Никита Орлов.

Потом, уже после того, как Федор Степанович сделал все необходимое, сели за стол. Обедали со спиртным, Петр продолжал дурачиться, поддразнивать Лесю, болтать глупости. В конце концов она, разозлившись, заявила, что не поедет в одной машине с двумя старыми и вдобавок нетрезвыми идиотами, а домой доберется сама. И удивилась: отчим как будто даже обрадовался этому. Вскоре оба уехали, а Олеся с симпатичной теткой Никиты – звали ее Саломеей – долго пили чай, а ближе к вечеру Никита вызвался отвезти ее на бричке в город и пошел запрягать.

Потом они бесконечно долго тряслись по ухабам. Олеся отмалчивалась, а Никита от природы был не из разговорчивых. Она сошла на Красных Писателей, неподалеку от дома, буркнула «спасибо» и даже не оглянулась, уходя.

Гораздо позже она поняла, что Хорунжий все это спланировал: и знакомство, и ссору.

Щенка Федор Степанович поставил на ноги в две недели. Никита привез Фрая все на той же бричке и с тех пор стал изредка заглядывать к ним после занятий. Тамара его тут же окрестила «наш женишок», а Хорунжий только ухмылялся. Иногда они с Никитой усаживались за шахматы; в такие вечера Леся закрывалась у себя и не входила в кабинет отчима...

Теперь – пустой, полутемный, с задернутыми шторами. Там его книги и навсегда погашенная настольная лампа.

От этой мысли внутри у нее все помертвело. Чтобы не расплакаться, Леся глубоко вдохнула, прикрыла глаза и тут же почувствовала тошноту. Ком подступил к горлу, она сглотнула, пытаясь избавиться от ужасного вкуса во рту, и напряглась как струна. Вот оно – опять. То, что она подозревала и чего боялась...

В конце апреля Никита на неделю уехал к родителям в Россию, мать – в служебную командировку, и они с Петром остались вдвоем. До этого они почти не разговаривали, тем более, что все это время он выглядел подавленным. В тот вечер он допоздна засиделся за ужином в компании Лохматого и Юлианова. Но как только за ними захлопнулась дверь, Петр без стука ворвался в ее комнату.

– Ты с ним спала? – его черные, как антрацит, глаза косили от ярости. – Отвечай!

Он схватил ее за плечи. Она почувствовала боль, услышала запах спиртного, но не подала виду.

– Нет, с Никитой у нас ничего не было.

– У нас?

– У меня.

– Зачем же ты с ним нежничаешь?

– Ты сам этого хотел.

– Ты не врешь мне, Леся? Я без тебя умру.

– И со мной умрешь.

– *Кохаю тебе.*

– *Дурню*, – пробормотала она, обнимая его.

– *Так. Свята правда. Хіба ж тобі зрозуміти, як я скучив...*

Они еще не раз были вместе. Даже когда вернулась из командировки мать.

Догадывалась ли Тамара? Скорее всего, нет. Она ревновала к другим, к другому. И совершенно не понимала, что за человек ее муж. Верила сплетням, что у Хорунжего полгорода любовниц, а он женщин мучительно жалел... Эту его нежность Леся знала с детства, когда Петр приголубил ее, заменив и мать, и отца.

Что могло свести их с Тамарой? Леся хорошо помнила, как они с матерью колесили по местечкам и селам от Днепра до задонецких степей. Ни дома, ни еды, ни одежды – не говоря уже о школе и друзьях. Ее револьвер в тяжелой рыжей кобуре, кожанка, пропахшая конюшной и невымытым телом... ничего женского. На вопрос, где отец, Тамара коротко отвечала: «Надеюсь, уже в могиле, контра». Потом возник Хорунжий, и шестилетнюю Лесю отправили в Полтаву, к его матери, на целый год – пожить в тепле и откормиться. В ту пору она была черной, тощей и совершенно дикой. Через год он приехал и забрал ее к себе – уже навсегда...

Из оцепенения ее вывел Никита. «Олеся, не нужно тут стоять, – тревожно зашептал он. – Ты должна быть со всеми. Так полагается».

Она покорно пошла сквозь толпу следом. Встала позади бабушки, нащупала шершавую холодную ладонь и крепко сжала. Та обернулась и сразу отвела взгляд. Ни слова, ни слезинки. Будто не ее сына хоронят. Рот Тамары был накрашен криво и ярко, под руку ее поддерживала Никитина тетушка Саломея, под другую – ее, Лесин, жених. Майя Светличная, жена Филиппенко, Фрося – сестра Булавина... еще кто-то из соседей по писательскому дому. Выстроились полукругом...

Впервые за это утро она решила взглянуть в лицо Петра. Он просто спал.

Леся крепко сжала веки, чувствуя, как распухает жгучий ком в горле. За всю свою жизнь она никогда, ни единого раза не видела Петра Хорунжего спящим.

Первым держал речь Назар Смальцуга.

Рубчинская поискала глазами Олеся – вот она, позади матери. Голова низко опущена, лицо в тени. Тамара тяжело, всем весом тела, опирается на руку неизвестной круглолицей заплаканной женщины.

Юлия хорошо знала Смальцугу, правую руку наркома Игоря Богдановича Шумного. Получив назначение, Шумный просил в первые заместители Александра Булавина, но ему отказали. Игорь Богданович не терпел партийных функционеров, среди которых попадалось немало темных личностей с непредсказуемым характером, Булавина же он хорошо знал. Тот был родом из Белгорода, еще в ранней молодости осел в Харькове. Закончил филологический в университете, а из аспирантуры Шумный сманил его в наркомат. Поначалу с Шумным работал Юлианов, затем первый муж Майи Светличной, умерший в двадцать восьмом от сердечного приступа прямо в служебном кабинете, а теперь – Смальцуга. Александра Булавина, уступая Шумному, назначили секретарем наркомата.

Смальцуга родился лет сорок назад в Каменце-Подольском в семье скорняка. Подростком по пьяной лавочке убил человека, революцию встретил с восторгом, в тридцать лет имел двух сыновей, а в тридцать восемь – диабет. В городе ходили упорные слухи, что в наркомат его посадил Балий.

Вячеслав Карлович, наконец-то сняв шляпу и обнажив острую, сильно прореженную макушку, держал Назара Смальцугу прозрачным, ничего не говорящим взглядом. Он знал, что Назар пьянствует, поколачивает жену, свински груб с подчиненными и понемногу подворовывает, – норма для выдвиненцев его уровня. Но то, что он вздумал кропать стишки и таскаться

по редакциям, было Вячеславу Карловичу не по душе. Хотя Юлия и сказала с улыбкой, бегло просмотрев написанное заместителем наркома: «Это скоро пройдет».

Назар приблизился к могиле – огромный, рыхлый, багроволицый. Оступился, боднул всклокоченной головой, и Балий слегка поежился, когда над кладбищем разнесся плачущий рык:

– *Брати мої, сестри!..*

Толпа зашевелилась, переглядываясь, но ничего особенного не произошло. Смальцуга извлек платок, отер взмокшее суровое лицо, важно выдержал паузу и отбарабанил с десятков фраз, подходящих чиновнику его ведомства.

Юлия даже огорчилась – только и нашлось, что два человеческих слова.

Назар часто навевался к мужу. Юлия сталкивалась с ним то в городской квартире, то в дачном поселке. При встречах Смальцуга косолапо обминал ее, косился в сторону и гудел «День добрый!». Она кивала и молча шла дальше. Вокруг него всегда витало облако запахов – сложная смесь ацетона, похмельного пота, сырого лука. Как-то поздним вечером муж распахнул дверь ее комнаты и торопливо проговорил: «Назару плохо, побудь там, я пошлю за врачом!» Она бросилась в кабинет – на диване распласталось обмякшее огромное тело. Пепельное лицо, мокрые от пота седеющие виски. Юлия схватила со стола плитку шоколада и стала заталкивать в закушенный, сопротивляющийся рот, пока Балий накручивал диск телефонного аппарата. Еще один гость, Иван Шуст, фигура из союза пролетарских писателей, откинувшись на высокую спинку стула, не сводил испуганных глаз с ее измазанных шоколадом пальцев. Она налила воды из графина, Назар захрипел: «Уйди!», однако Юлия заставила его выпить все до дна. На лице Шуста, уже пришедшего в себя, блуждала игривая улыбка: «Может, ему и коньячку теперь, Юлия Дмитриевна?»...

На кладбище Иван Шуст был собран, гладко выбрит, скромно одет и в меру скорбен.

«С одной стороны, – слышала Юлия, – Петр Георгиевич Хорунжий стоял у истоков пролетарской литературы и имел немалые заслуги. Он многого достиг в творчестве, ошибался, искал... – Шуст поправил узел галстука, – но всегда оставался... верен себе. С другой стороны, иначе как малодушием его поступок назвать невозможно...»

Его перебил возглас из толпы: «Холуй!» Юлия поежилась – сейчас грянет скандал. Шуст, однако, даже не запнулся.

Скандал тут же замяли: Михася Лохматого, пьяного до икоты поэта, чья-то крепкая рука выдернула из первого ряда и, зажав рот, втащила за спины плотно обступивших могилу людей. Там стояли те, кого она хорошо знала, – тесная кучка, и с ними Казимир Валер, художник. Она не могла не узнать эту худошавую сутулую спину, прямые плечи, длинные легкие волосы, хриловатый, полный насмешки голос. Руки его летали – как всегда, когда он был нетрезв... Впрочем, Казимира она видела трезвым всего однажды – это было... задолго до Балия.

Муж, будто прислушиваясь к этим мыслям, наклонился к ее уху и негромко произнес:

– Еще пара выступающих, и кончено. Ты как? Не устала?

– Нет.

– Я тебя отвезу.

– Мне нужно повидать родителей. И еще я хотела бы подойти к близким Хорунжего... попозже.

– Только тебя там и не хватало, – Вячеслав Карлович выпрямился. – Не валяй дурака, Юлия. На твоём месте я бы... Как долго они говорят, будто покойнику не все равно... Ладно, поступай как знаешь...

Она чувствовала, что должна подойти к Олесе. Именно сейчас.

Балий, не дожидаясь конца, уехал. И слава Богу. Теперь она могла хотя бы положить цветы на могильный холм. Гроб опустили, комья глины застучали по крышке под фальшивые

вскрики оркестра. Провожающие еще плотнее сгрудились у того места, где теперь предстояло вечно спать Петру Хорунжему.

Прижимая букет к груди, Юлия пошла было туда, но внезапно столкнулась с Казимиром Валером. Тот, слегка пошатываясь, выбирался из толпы вместе с женой. Женщина держала его за руку. Сердце Юлии мучительно сжалось. Художник хмуро кивнул, она уступила дорогу и ахнула от неожиданности – кто-то крепко сжал ее локоть. Рядом стоял Филиппенко.

– Юля, – произнес он, – здравствуйте. Я неважно вел себя накануне. Нервы. Вот – хочу повиниться.

– Пустяки, – она поискала глазами Олеся Клименко. – Вы сказали самое главное, Андрей Любомирович. Он действительно был хорошим человеком. . .

– Да, сегодня всем нам нелегко. . . Вас подвезти? Мы с Вероникой. . .

– Спасибо, не стоит.

– Ну что ж. . . я на дачу. Не забывайте нас, заглядывайте.

– Всего доброго, – она рассеянно кивнула, а затем все-таки пошла к могиле. И внезапно почувствовала себя абсолютно никому не нужной. Ни здесь, ни где-либо еще.

Тем временем, затерявшись в толпе, с нее не спускал глаз мужчина среднего роста и ничем не выделяющейся внешности, одетый в темно-серый, самого рядового покроя костюм. Особых примет у него не имелось, за исключением левой руки. На ней не хватало трех пальцев, поэтому мужчине приходилось носить перчатки, а чаще держать руки в карманах. Фамилия его была Ягодный. Светлая двухдневная щетина покрывала слегка одутловатое, замкнутое и сосредоточенное лицо мужчины.

Он проследил за тем, как жена Вячеслава Карловича положила цветы в общую груды, отметив, что при этом она перекрестилась. Затем немного постояла в раздумье, глядя на кучку родственников покойного, и направилась к главному выходу.

Мужчина надел кепку и последовал за ней. Кладбище начало пустеть.

Юлия сразу поняла: ей не дожидаться, чтобы Олеся осталась одна. Люди шли вереницей, что-то говорили, и многие так и оставались рядом с ней и Тамарой. Даже Шуст вертелся там же – Тамара резко и нервно что-то доказывала, и тот с пониманием кивал. Рядом неприкаянно бродил горбун Иосиф Гаркуша. Лицо калеки – Юлия всегда поражалась тонкости его черт – было заплакано. Еще в незапамятные времена Гаркуша был клиентом ее отца – кажется, его обвиняли в растрате каких-то казенных денег, но в конечном счете оправдали. Теперь он приобрел известность по другой причине – как самый влиятельный литературный критик в республике. Казнил и миловал. Олеся рассказывала, что ее отчим регулярно получал от горбуна бессвязные, чуть ли не любовные письма, но два года назад они прекратились, как прекратились в журналах и статьи за подписью Гаркуши о творчестве Хорунжего. Его сменил Шуст – тот пощады не знал.

Не было наркома Шумного, не было Павла Юлианова. Почему-то никого из киевлян. . . К Тамаре Клименко приблизился Булавин, произнес несколько слов, затем обнял мать Хорунжего, задержался возле Олеси. Девушка взяла его под руку, они прошли вместе несколько шагов по аллее, затем Олеся, заметно прихрамывая, вернулась к своим.

Юлия вздохнула и, уже не оглядываясь, поспешила к воротам, где ее ждал серый «опель» Баляя.

Шофер распахнул перед ней заднюю дверцу и равнодушно поинтересовался:

– Куда едем?

– На Конный, – сказала Юлия.

Этот угрюмый парень отлично знал адрес – не раз возил ее к родителям. Их квартира теперь находилась в Советском переулке, второй от угла пятиэтажный, бывший доходный, дом. Кивнув, шофер ловко вывел «опель» из месива беспорядочно столпившихся у ворот кладбища извозчиков и авто.

Юлия откинулась на кожаную подушку сидения, пахнущую Вячеславом Карловичем, и устало прикрыла глаза. Папироса оказалась ей горькой.

С Казимиром Валером она познакомилась случайно. По поручению отца Юлии пришлось отправиться на дачу Филиппенко, а Казимир как раз тогда писал портрет Елизаветы Францевны. Художник ежедневно приезжал в поселок с рабочим поездом, Юлия же старалась избегать поездок по железной дороге. Выглядела она в то время чистенькой буржуазной барышней, и в заплыванном подсолнечной шелухой вагоне на нее косились – кто с насмешкой, кто с откровенной угрозой. Приходилось ждать okazji, а в тот день к Веронике отправилась Марина Ивановна – наниматься няней к детям, и прихватила ее с собой...

Почему она так запомнила все эти мелкие подробности? Марина Ивановна, в прошлом преподавательница гимназии, явилась к матери совершенно неожиданно. Плакала, жаловалась на нищету, просила рекомендовать приличным людям. Мать звонила Филиппенко и Веронике, потом был нанят извозчик. В пролетку погрузили все ее вещи – Марина Ивановна ехала «вабанк», однако «ваньке» все-таки было приказано дожидаться на случай отказа. Может, потому и запомнилось, что всю дорогу учительница настойчиво расспрашивала о брате, а Юлия упорно отмалчивалась? А может, потому, что ей тогда было всего семнадцать и она влюбилась?

Отказа не последовало. Три языка и педагогический опыт сделали свое дело. Обрадованная Марина Ивановна тут же бросилась к пролетке, расплатилась и отпустила возницу. Юлию усадили обедать, за столом был художник – вот тогда она его и увидела так близко впервые.

Сказать, что она восхищалась его живописью, мало. И то, что Казимир Валер, прославившийся своими фресками, тончайшей книжной графикой и одновременно легендарными загулами, человек отчаянный и свободный, сидит напротив, устало усмехается, а на его прекрасных руках все еще видны следы неотмытой краски, заставило ее сердце биться сильно и неровно. Она даже и не смогла прямо взглянуть на него. Валер отказался от вина, и Юлия тоже, сославшись на то, что ближе к вечеру ей нужно возвращаться, то есть ехать поездом. Тогда он предложил ей себя в попутчики, и она, покраснев, отчаянно смутилась.

Стоял конец августа, необычно жаркий. После обеда Юлия спустилась к реке. Здесь было безлюдно, вода мутновата, у берега покачивались изъеденные водяным жучком листья кубышек. Потом она ждала художника на скамье перед домом, и все было как в тумане – он долго не шел, из сада доносились детские голоса, гремела посуда в кухне. Потом ее окликнула Вероника Станиславовна: «Голубушка, передайте это родителям!» – и протянула ивовую корзинку, полную отборных яблок и винограда. Корзинка оказалась тяжеловатой, и Казимир, взяв ее из рук Юлии, нес всю дорогу и позабыл вернуть, а она не осмелилась напомнить...

Он спустился с крыльца налегке – этюдник с кистями и красками оставался у Филиппенко до следующего сеанса, – вышел вместе с Юлией за ворота, коротко взглянул на лачугу Зюка Бушмака, пробормотал: «*Отакöй!*» и больше до самой платформы не произнес ни слова. Юлия едва поспевала за ним, упорно глядя под ноги, хотя знала дорогу к станции на ощупь. Только в поезде Казимир ожил – словно тяжелый, наэлектризованный мужскими телами воздух переполненного вагона был для него живительным. Вскоре они перебрались в тамбур, где было как будто посвободней, но Казимиру по-прежнему приходилось всем корпусом оберегать Юлию от толчков.

О чем они говорили, Юлия совершенно не запомнила – в памяти остались внимательные, серые с зеленцой, чуть навывкате глаза, нежная, как у ребенка, кожа лица и то, как он брезгливо шурился, когда из вагона валом накатывал смачный гогот вперемешку с матерщиной. На Южном вокзале разошлись не прощаясь. Валер сухо кивнул, будто в городе сразу же потерял к ней всякий интерес, а она еще долго растерянно смотрела художнику вслед.

До той выставки, в тридцать втором, они больше не виделись.

Туда Юлия пришла без сопровождающих – Балий отбыл в служебную командировку. Шла кампания по очистке крупных городов республики «от лишних и антиобщественных элементов». Его слова.

Три дня свободы. Ей не терпелось взглянуть на Валера – каким он стал и помнит ли. Сама-то она никогда его не забывала. До нее доходили слухи, что он женился на художнице Марьяне Коваль, что жена его – женщина решительная и энергичная, и всеми силами пытается оградить Казимира от влияния беспутных приятелей. И наоборот – что он беспробудно пьет, что, вернувшись из Германии, окончательно забросил живопись, а совсем недавно его, избитого и мертвецки пьяного, нашли под дверью собственной мастерской. . .

Поэтому она как бы и не видела живописи. А когда наконец-то отыскала Казимира среди публики, толкавшейся в зале, ей показалось, что он совершенно не изменился. По крайней мере внешне. Рядом с ним все время находились жена и художавый, с залысынами над высоким лбом мужчина средних лет в очках в железной оправе и в косоворотке под пиджаком. Марьяна Коваль оказалась невысокой и полноватой, почти без талии. Пестрая вышиванка и яично-желтые крупные бусы не красили ее и без того круглое лицо с пятнами неровного румянца на монгольских скулах. Лишь глаза, неожиданно яркие, в крапинку, цвета гречишного меда, опущенные густыми темными ресницами, делали ее привлекательной.

Неожиданно из подсобных помещений возник Ярослав Сабрук – его-то она хорошо знала – и увел Марьяну, а вскоре Юлия услышала, что ее окликают по имени.

К ней проталкивалась возбужденная Вероника Станиславовна, которая – непременно, непременно! – должна была познакомить Юлию с отцом Василием, тем самым, что когда-то обвенчал ее с Андреем Любомировичем. На ходу она успела скороговоркой сообщить, что венчание состоялось по греко-католическому обряду, что отец Василий не женат, уже три года не служит и работает истопником в университете, имея местожительством дворницкую. Бывшие прихожане его поддерживают. . .

Еще издали Юлия столкнулась с внимательным взглядом из-под очков – тот самый мужчина с глубокими залысынами. Вероника Станиславовна, миглом присмирившая, кивнула Казимиру и представила Юлию. Отец Василий протянул узкую загорелую ладонь. Она пожала и покраснела – но не от смущения перед священнослужителем, пусть и бывшим, а потому что почувствовала, как Казимир Валер смотрит на ее открытую шею.

Юлия тут же повернулась к художнику. Валер был заметно навеселе и настроен воинственно. «Пани оказали честь. Премного благодарны!» – дурашливо раскланялся он. Боже, помоги мне, подумала Юлия и, изо всех сил стараясь казаться спокойной, проговорила: «Рада видеть вас снова. Поздравляю». – «Чему ж тут радоваться, пани, – скоморошничал Казимир. – Мы люди незаметные, в быту скромные. Если вам приглянулись наши каляки-маляки. . .» – «Приглянулись, – сказала Юлия, – иначе меня тут не было бы. . .» – «Мы ведь с вами где-то встречались, так?»

Она не успела ответить – Сабрук призвал публику к тишине. Валер тут же направился к нему.

– А вот мы с вами действительно давно знакомы, Юлия Дмитриевна, – шепнул отец Василий, – правда, вы могли меня и не узнать. Тогда вы были слишком маленькой.

– Когда же? – тоже шепотом спросила Юлия. Она уже успокоилась.

– Еще до Первой мировой. Я ехал в Крым, а рядом в купе – ваша большая и дружная семья. Вы показались мне необычайно разговорчивым ребенком. . .

– Не помню, – засмеялась Юлия. – Но все равно я вам рада.

Экспозицию открывал Сабрук. Народу собралось так много, будто речь шла совсем не о живописи. Поэтому, решив заглянуть сюда еще раз в будний день, Юлия просто блуждала в толпе. Казимир исчез; она поговорила с Олесей Клименко, еще с кем-то. Издалека до нее

донесся голос Марьяны, потом театральный смех Вероники – и все стерлось в шарканье подошв и чужих разговорах.

Домой она вернулась усталой и несчастной. Это чувство сохранилось и в следующие дни. Юлия никуда не выходила – лежала, отвернувшись лицом к стене и блуждая по лабиринтам узора на обоях. Когда приехал муж, она позволила ему приласкать себя, что случалось нечасто, и вдруг расплакалась. Потом они пили густое и слишком сладкое вино, Юлия рассказывала о выставке. Какая дура, корила она себя потом, устроила ликбез... Балий слушал, позевывая в ладонь, с терпеливой нежностью, только зачем-то спросил – как был одет Шумный? Она ответила: как всегда, это же не правительственный прием. «Формалисты, – неодобрительно заметил муж, – все резвятся...» – «Валер – гений!» – упрямо возразила Юлия. «Так давай закажем ему портрет, ты же у меня красавица...» – «Нет-нет, – испугалась она, наверняка зная, что Казимир Балию откажет, – я не хочу, не надо!» – «Тогда купим у него картину. Любую, какую захочешь. Филиппенко же покупает. И другие. Сабрук, твой дружок, например... Жена этого гения торгует его холстами направо и налево...» – «Откуда ты взяла?»

Вячеслав Карлович сдержанно усмехнулся.

И все же через некоторое время она решилась. В мастерскую к Валеру Юлию отвел Митя Светличный, ее приятель еще с гимназических времен и тоже художник...

– Приехали! – как сквозь вату донесся до нее голос водителя. – Я сразу в наркомат, Юлия Дмитриевна.

– Спасибо, Миша...

Она даже не взглянула вслед отъезжающей машине.

У своих Юлия почувствовала себя гораздо лучше. На третьем этаже нажала кнопку – одну из четырех, ту, над которой была привинчена латунная гравированная табличка «Рубчинский Д. Б.». Открыла мать, и Юлия сразу же направилась в общую ванную – вымыть руки. Мать терпеливо ждала в полутемном коридоре. Слава богу, никто из соседей не путался под ногами, не торопил. Перед помутневшим от сырости овальным зеркалом, оставшимся еще от старых хозяев, Юлия стащила перчатки, сняла косынку, сунула в карман жакета и отвернула ржавый кран.

Ее ни о чем не спрашивали. В их семье все были сдержанными, а когда брат и сестра исчезли, в ее присутствии родители вообще перестали говорить о пустяках. В большой комнате был накрыт круглый обеденный стол – три прибора, хлеб под салфеткой и в центре – графин со светлой жидкостью.

– Тебе рюмку ставить? – спросила Анна Петровна от буфета. – У нас только водка, да и та неважная.

– Да, – сказала Юлия. – Хотя не знаю, поможет ли... Как папа?

– Физически лучше, а так... Сейчас выйдет.

– Я присяду.

– Садись сразу за стол. Отец хотел знать – как там... Господи, пирог в духовке!..

Вместе с рюмками на столе появилась глубокая глиняная миска, накрытая тарелкой. Юлия заглянула – винегрет. И сразу почувствовала, что голодна. Мама – и винегрет! Пирог в духовке! Просто смешно. Мать терпеть не могла стряпни. В доме всегда была кухарка, из самых лучших. Иногда они с отцом ужинали в ресторане, детям готовила прислуга. Даже при советской власти, когда они окончательно обнищали, мать держалась до последнего, лишь бы не подходить к плите. Но теперь все легло на ее плечи. И слава богу, что «пакетов», которые доставляли Балию на дом из правительственного распределителя, хватало не на одну семью...

– Здравствуй, доченька! – Дмитрий Борисович, опираясь на трость, стоял на пороге. – Ты давно здесь?

Юлия с улыбкой обернулась к отцу:

– Только что вошла.

– Устала?

– Очень... Я смотрю, ты у нас молодцом...

Отец опустил на стул напротив и, понизив голос, произнес:

– Пока мамы нет, я тебе кое-что скажу. Я писал Соне и сообщил ей диагноз, который мне здесь поставили. А сегодня пришел ответ... Она требует, чтобы я отказался ложиться на операцию в Москве. Чтобы дождался ее приезда, и она заберет меня с собой. Под Парижем есть какая-то специальная клиника. Твоя сестра, как мне кажется, не совсем понимает, где мы живем, а Аня сразу же загорелась этой идеей. И я не могу объяснить ни ей, ни Соне, что меня ни при каких обстоятельствах отсюда не выпустят.

– А тебя и в самом деле не выпустят? Никакой надежды?

– Доктора настаивают на Москве...

– Я поговорю с Вячеславом Карловичем, папа. Это можно уладить.

– Юленька, – Дмитрий Борисович взглянул на нее с состраданием. – Дело в том, что консилиум устроил твой муж. И врачи – из его ведомства.

– Ты хочешь сказать, что Балий решает, где тебе оперироваться?

Отец не успел ответить. В комнату вплыла Анна Петровна с подносом, на котором дымился пирог. Лицо ее было сосредоточенным, но довольным.

– Ну, все в сборе, – воскликнула она. – И пирог, кажется... Ну, может, чуть-чуть подгорел. Юля, помоги, пожалуйста, ты лучше меня управляешься с ножом, а я сбегая за супницей. У нас сегодня...

Резкий звонок в дверь заставил ее умолкнуть. «Легок на помине, – с досадой подумала Юлия о муже. – Что ему неймется?»

Она поднялась и заторопилась в прихожую, потому что трель звонка не умолкала.

Это был не Балий. На площадке, в распахнутом длиннополом пальто, со свертком под мышкой, не отрывая пальца от кнопки, стоял режиссер Ярослав Сабрук. Лицо его было мокрым от слез, а глаза как у слепого.

4

Никто будто и не понял, что на самом деле произошло, в особенности Тамара.

Она и на кладбище все еще пыталась закончить в свою пользу застарелый спор с мужем, но возразить теперь было некому – поэтому она обращалась к Ивану Шусту. Тот уклончиво пожимал плечами, изредка кивал, словно соглашался со всем и ни с чем по отдельности.

Не то сейчас было нужно Тамаре. Она распалила себя, все больше накаляясь, будто в этом пламени должно было дотла сгореть все, что не было ее правотой. Перед партией, перед теми, кто говорил над гробом, втайне ненавидя жалкого самоубийцу, перед теми, кто трусливо изменял великому делу очищения мира от скверны. Казалось, еще минута – и она забьется в припадке.

Шуст, учуяв, подхватил женщину под руку, склонился к ее уху, зашептал.

Смотреть на это не было никакой возможности. Олеся отвернулась. На теплый от солнца гранитный парапет соседней могилы – некто Меньшов, генерал в отставке, – опустилась бабочка. Сложилась, на миг превратившись в прелый осиновый лист, и внезапно распахнула всю ширину зубчатых крыльев, мелко подрагивая. Два лазурных глаза внимательно уставились на Олеся.

Все еще кружилась голова. С того самого момента, как гроб начали опускать в яму и ей вдруг почудилось, что у могилы нет дна. Черный провал сквозь пласт глины, в котором шевелятся сгустки еще более глубокой тьмы.

Бабочка вспорхнула и заметалась между побитыми морозом туями.

Олеся и не заметила, как к Тамаре приблизился Булавин. Только услышав его сочувственный глубокий баритон, она обернулась. Александр Игнатьевич поклонился матери, произнес: «Скорблю вместе с вами. Ужасная потеря!» – и тут же отступил. Та резко вскинула подбородок, будто протестуя против смысла сказанного, жидкая прядь выбилась из-под платка, нелепо намазанный рот исказился, а во взгляде полыхнуло такое, что он счел за благо не продолжать. Как близкий, обнял мать Хорунжего – она обессиленно уткнулась лицом в борт его диагоналевого пиджака, поцеловал узловатые пальцы женщины и обернулся к Олеся.

– Девочка, всего два слова...

Булавин протянул руку, и она последовала за ним. Они прошли рядом несколько шагов, когда он почти беззвучно, не разжимая губ, произнес:

– Выслушай внимательно. Это очень важно. Что бы ни случилось, сегодня вечером ты должна прийти ко мне. Буду ждать после девяти. Ты помнишь, где я живу?

– Да, – сказала Олеся. – Хорошо помню. Вы...

– Это касается твоего отчима. И откладывать нельзя. Понимаешь меня?

Она кивнула. Булавин ссутулился и, не оглядываясь, зашагал по аллее. На полпути к воротам, выходящим на бывшую Епархиальную, его догнал кто-то из знакомых, а Олеся вернулась к своим.

Возможно, поэтому поминанье, устроенное дома, проплыло мимо нее, как тяжкий и путаный сон. И, как во сне, она не запомнила ни возвращения с Первого городского, ни того, что было дальше.

Запершись в своей комнате, Олеся впала в тягостное оцепенение. Ни одной мысли. Словно рассудок и душа, отказываясь вместить невместимое, невозможное, сжались до размеров стеклянного шарика вроде тех, какими любят играть дети. Шарик был зеленоватый, с неровностями и включениями воздушных пузырьков в мутноватой глубине, еще теплый. А все остальное сковал холод – настолько жестокий, что невозможно и пальцем пошевелить. Единственное, что проникало сквозь ее защитную оболочку, – хлопанье входной двери, эхо осто-

рожных голосов и звуки шагов в коридоре за дверью. Заслышав их, она всякий раз вздрагивала и натягивала на колени край пушистого *ліжника* — подарка Хорунжего.

Ее дважды звали – сначала мать, потом бабушка. Пришлось выйти в комнату матери, которая показалась ей тесной и пахнувшей, как давно не чищенный аквариум. Окно было распахнуто настежь, за ним в густеющих майских сумерках кивала верхушка молодого клена, но все равно над головами пластами стоял папиросный дым, а в нем прятались лица – два-три знакомых, а остальные неизвестно кто, чужие, ненужные люди, которых зачем-то позвала Тамара.

К счастью, никто не обратил на нее внимания. Олеся присела на край доски, уложенной на пару кухонных табуретов, где уже плотно поместились двое каких-то широкоспинных и багровошеих, один в чесуче, второй в серой пропотевшей толстовке. Ей придвинули тарелку и тяжелый, синего стекла, бокал с чем-то, но от густого запаха пищи и табака ее снова замутило.

Поднявшись, она пробормотала извинения и вернулась к себе, к своему одинокому холоду. Там стало немного легче.

Без четверти девять девушка выскользнула из своей комнаты. В коридоре и в прихожей никого не было. Она взялась за ручку входной двери, оставшейся незапертой, и вдруг оглянулась – позади, в проеме, ведущем к кухне, стояла бабушка. Глаза из-под туго повязанного платка смотрели сурово и требовательно. Будто она все знала и не могла одобрить поступков Олеси.

Олеся испугалась. Вот сейчас ее остановят, помешают, и тогда...

Она не успела додумать, что тогда может произойти. Бабушка Катя вполголоса спросила: – Ты куда?

– Подышу, – проговорила Олеся, пряча глаза. – Душно очень.

Екатерина Филипповна кивнула и отвернулась.

Олеся толкнула дверь, выскочила на площадку и бросилась вниз. И только пролетев стремглав два лестничных марша, резко остановилась, охнула и схватилась за щиколотку. Дальше пришлось спускаться вприпрыжку, чтобы не ступать на пятку – так ноге было легче.

До угла Чернышевской и Каразинской, где находился недавно отстроенный четырехэтажный наркоматский дом со служебными гаражами во дворе, было не так далеко. Она свернула раз и другой, миновала военный госпиталь, чьи облезлые корпуса и старые вязы тонули в сумраке, пересекла кое-как освещенную, но людную Сумскую.

Из ресторана «Укрнархарча» напротив Дома старых большевиков доносилась музыка – какие-то куплеты под аккомпанемент скрипки и концертино. Сквозь широкое окно был виден певец – женоподобный юноша во фраке, ломавшийся на эстраде. У входа толкалась кучка чубатых молодчиков с прилипшими к нижней губе окурками, глаза на только что подъехавшую машину. Дверца распахнулась – и в появившейся из авто даме в лиловой бархатной шляпке, осыпанной стразами, Олеся с удивлением узнала Фросю Булавину. Швейцар, кланяясь, отворил перед новыми посетителями двери, но спутника Фроси девушка так и не разглядела: кто-то из ресторанных завсегдатаев, отделившись от своих, окликнул ее и потянулся, пытаясь схватить за локоть.

Олеся отшатнулась, услышала в свой адрес похабное словцо, опустила голову и ускорила шаг. На пустынной Каразинской эхо подхватило неровный стук ее каблучков.

Как только она вошла в просторный, выложенный сверкающим кафелем холл четвертого подъезда, слева со стуком распахнулось оконце. Оттуда вынырнула плоская угреватая физиономия в фуражке наподобие железнодорожной.

– Вы к кому, товарищ? – подозрительно осведомился вахтер, ерзая от готовности броситься и упредить.

– К Александру Игнатьевичу, в сороковую. Назначено, – бросила Олеся и, пока вахтер ползал желтым кривым пальцем по строчкам, бормоча «Булавин, Булавин...», уже была на втором и звонила.

Открыли сразу – будто Булавин поджидал прямо в прихожей. Впустив девушку, он выглянул на площадку – туда выходила дверь еще одной квартиры, – а затем дважды повернул ключ в замке.

– Проходите, Леся, – он посторонился, пропуская ее.

Небольшая прихожая была ярко, пожалуй, чересчур ярко освещена. В этом беспощадном свете аскетическое лицо Александра Игнатьевича показалось ей землистым. Как прочерченные резцом, выделялись носогубные складки. Он был одет в теплую домашнюю куртку и застегнут на все пуговицы, словно и ему было так же зябко, как Олесе.

– Сюда, – указал он, – вторую занимает сестра. Сейчас ее нет дома.

Олеся кивнула и вошла. Небольшая комната с широким, во всю стену, но сейчас плотно зашторенным окном, походила на спальню и кабинет одновременно. Узкий кожаный диван с ковровыми подушками, грузный письменный стол, затянутый зеленым сукном и заваленный бумагами, пара старых кресел. Недопитый стакан чаю в литом серебряном подстаканнике с рельефом – пара тронутых чернью токующих тетеревов. На ковре, прикрывающем стену, в строгом порядке развешены двустволка, ягдташ, прочее охотничье снаряжение. Книги на подоконнике и на полу – совсем новые, в большинстве издания ДВУ.

После прихожей казалось сумрачно – настольная лампа под темно-синим колпаком выхватывала только поверхность стола.

– Садитесь, Леся, – Булавин кивнул на кресло. – Хотя я не думаю, что разговор наш займет много времени. Приходится спешить – и моей вины в том нет. Я понимаю ваши чувства...

– Давайте оставим мои чувства в покое, Александр Игнатьевич, – произнесла девушка, отворачиваясь и пряча лицо в тень. – Вы ведь не ради этого меня позвали?

– Нет, – он качнул коротко остриженной и рано поседевшей головой. – У меня к вам дело. Вернее... Я боюсь, мне не удастся выполнить то, о чем меня просил Петр... ваш отчим. Просто не успею. Поэтому...

– Я не понимаю, – быстро проговорила Олеся. – О какой просьбе вы говорите?

– Сейчас объясню.

Булавин наклонился и извлек из-под стола фибровый чемоданчик – из тех, что звались «студенческими». Довольно плоский, выкрашенный суриком, с навесным замком на крышке. Уложив его плашмя на стол, он спросил:

– Случалось вам видеть дома эту вещь? Попробуйте припомнить.

Олеся попробовала. Сначала не вышло – все, что вспоминалось, было связано с Петром. Как только в сознании возникали его лицо, руки, голос – внутри что-то переворачивалось и все гасло. Потом все-таки удалось: вот, кажется. Она возвращается из музыкальной школы – занятия почему-то отменили. Это прошлая осень. Край оврага, который тянется по незастроенной стороне Красных Писателей, завален палой листвой – пурпурной, ржаво-золотой, цвета бурого янтаря, внизу – строительный мусор, свалка. Дышится легко, и на одном дыхании она взлетает наверх, домой, вихрем проносится по квартире, еще не видя, но точно зная, что он здесь, распахивает дверь кабинета. «Добридень, Лесю! – со смущенной улыбкой произносит Петр, торопливо убирая в этот самый чемоданчик какие-то бумаги и захлопывая крышку. – Як ти?» – «Краще за всіх!» – выпаливает она, уже начиная понимать, что явилась не вовремя, ему не до нее и не хочется, чтобы она видела его за этим делом, но все-таки спрашивает: – *Що це в тебе?»* – «Мотлох, – он морщится, ломает бровь, вертит в руках замок. – *Стара чортівня. Нікому не цікаве*».

Она обижается. А это фибровое чудище с тех пор исчезает и больше ни разу не попадает ей на глаза.

– Да, – ответила Леся. – Всего один раз.

– Вам известно, что там находится?

– Нет.

– И не пытались заглянуть – хотя бы из любопытства?

– Зачем?

– Здесь то, что он писал для себя. Без всякой надежды опубликовать. И что-то вроде дневниковых записей. Это странные и, по-моему, очень опасные вещи – вы, Леся, должны об этом знать и помнить. За день до своего... до отъезда в командировку Петр пришел ко мне с этим чемоданчиком и попросил подержать у себя. И предупредил, чтобы я был крайне осторожен. Я не мог отказать.

– Он оставил вам ключ? – спросила Олеся.

Булавин беззвучно пожевал сухими губами.

– Значит, вы прочли?

– Кое-что, – казалось, он пристально изучает чернильное пятно на сукне столешницы, похожее на барсучью морду. – Далеко не все. Я, знаете ли, был слишком подавлен... Будто предчувствовал, как все повернется. Скажу только одно: у Петра была тайна, и ему приходилось с ней жить. Опять же – имена...

– Имена?

– Сами поймете. Читайте. Прочтите все подряд. Он этого хотел. Но я вас заклинаю, Леся: никогда, никому не показывайте его записей. При других обстоятельствах я бы не стал подвергать вас такому риску – но мне сегодня сообщили, что мною интересуются у Баляя. Понимаете, что это означает?

– Понимаю.

– Вот поэтому я не могу держать архив Петра у себя. И обратиться мне не к кому – ситуация такова, что доверять можно только себе. Вы – не в счет, прошу прощения.

– Вы сказали – тайна?

– Несомненно. Я прагматик и в большой мере реалист, поэтому отказываюсь рассматривать то, о чем пишет Петр, как реальные события. Как действительность, ту самую, кантовскую, данную в ощущениях. Однако и на литературный прием это не похоже. Возможно, психологические эксперименты, о которых никто не подозревал. Или причуда мастера, который умеет все, но скован обстоятельствами. Одиночество, знаете ли...

– Он... – Олеся запнулась. – Мне кажется, он не был одинок. Во всяком случае...

– Можете мне поверить. Уж я-то знаю. Мы с Петром слишком давно знакомы. Вокруг него была пустыня, заколдованный круг, который год от года только расширялся. Ваш отчим, Леся, остался белой вороной среди толпы нынешних, вскормленных на приложениях к дореволюционной «Ниве» и лубочных просветянских книжонках, их и считающих литературой. И единомышленников у него было раз-два и обчелся. Он первым в своем поколении определил болезнь: если нельзя о чем-то написать, это ненормально, так не может быть. Те, кто постарше, тоже знали это, но согласились, что в искусстве должны быть границы. Мораль, Бог, идея, равенство, уважение к физическому труду, в котором они в большинстве ни черта не смыслили. С этого все и началось. Шулерство! Вместо того, чтобы противиться чужой преступной воле, они признали ее своей – и почувствовали себя почти счастливыми. А Петр никогда не был счастлив, даже когда и враги, и почитатели в полном согласии признавали его первородство...

Булавин поднялся, шагнул к окну. Крупная мужская рука отвела угол коричневой плюшевой шторы. Он постоял, глядя в темноту двора.

– Вам нужно побыстрее уходить, Леся. Постарайтесь, чтобы вахтер внизу не заметил, что у вас в руках. На улице будьте очень внимательны, может случиться всякое. Там я ничем не смогу помочь.

Он протянул ей чемоданчик, оказавшийся довольно увесистым, и отдельно – бронзовое колечко с небольшим ключом. Подумал: «Какая же она красивая... и измученная. Словно с Петром из нее ушла вся жизнь».

Колечко Олеся узнала – точно такое же, слегка сплюснутое, было на связке с ключами от их квартиры и подвала.

– Прощайте!

Они уже стояли в прихожей. Булавин отпер и снова выглянул, прежде чем выпустить девушку. В подъезде было пусто, как в заброшенной штольне.

Олеся спустилась и почти бегом миновала холл первого этажа, стараясь держаться вплотную к оконцу, за которым черной медузой плавала фуражка. Вряд ли вахтеру удалось заметить чемодан. Но дух она перевела только тогда, когда пружина механизма с важностью прикрыла позади нее тяжелую дверь. Девушка сразу же свернула направо.

Для возвращения Олеся решила выбрать другую дорогу. Сначала вверх по Чернышевской, затем на Госпитальную и, вплотную к оврагу, задами, вдоль дровяных сараев и заброшенных огородов, – к дому. В такое время риск столкнуться там с кем-либо, кроме мелкой шпаны, невелик. А со шпаной она умела договариваться – в выпускном классе ей не раз приходилось бывать в колонии для беспризорных в Куряже. Называлось – шефская работа.

Весь этот путь она проделала, начисто позабыв о боли в щиколотке и обеими руками прижимая к груди свою ношу. В темных переулках ей не встретилось ни души, но едва она свернула во двор писательского дома, как еще издали заметила у своего подъезда, там, где сгрудились в сумраке молодые кусты сирени, огонек папиросы. Он плавал слишком низко, то вспыхивая, то угасая, – словно куревом баловался малолетний недоросток.

Олеся сразу решила – кто-то сидит на скамье у входа. Может, просто так, а может, и с целью. Сознание испуганно ухватилось за эту мысль. Она мгновенно, почти инстинктивно, свернула с асфальта и бесшумно двинулась вдоль стены – там было совсем темно, и, если удастся подобраться незамеченной, можно сразу нырнуть в подъезд, миновав неизвестного с папиросой.

Ничего не вышло. Она была почти у цели, когда со скамьи окликнули:

– Ну-ка постой, дочка!..

Она застыла и тут же резко обернулась, пряча чемоданчик за спину. Голос показался знакомым. Со скамьи поднялась во весь рост шаткая фигура, надвинулась вплотную, тяжелодохнув спиртным.

Сильвестр – прозвище, данное Хорунжим, намертво приклеилось к его старому приятелю. Олеся едва сумела припомнить, как на самом деле зовут этого отличного, острого и успешного прозаика, гуляку, ласкового бабника, труса, по мнению одних, скрытого врага и уклончивого антисоветчика – по мнению других. Были и третьи – те считали Гордея Курченко штатным осведомителем. Иначе ему давно бы надлежало сидеть. Среди тех, кто присутствовал на поминанье, Олеся его не видела.

– Слушаю, Гордей Власович.

– Ты это видела?

Он ткнул рукой в темноту позади нее – жест был неверный, размазанный, и сразу стало ясно, что Сильвестр не в себе. Лица его девушка не видела – только смутно поблескивали белки.

– Что? – шепотом спросила она, непроизвольно отступая на шаг и оглядываясь.

За спиной у нее был дом, ничего больше. Время не позднее, начало одиннадцатого, но свет горит всего в двух-трех окнах. Серая пятиэтажная притаившаяся громада, в плане похожая на букву «С», – основной корпус, два крыла под прямым углом к нему. Кооператив «Слово» – сюда стремились многие, но получить здесь жилплощадь удавалось не каждому. Требовались заслуги.

– Видишь, на что похоже? Вон, вон, глянь – труба!

Олеся молча пожала плечами. Она так испугалась сначала, что на какое-то время перестала чувствовать свое тело. Не за себя – за чемоданчик и его содержимое.

– А знаешь ты, как по-латыни будет «сжигаю»? *Crema!* А по-итальянски еще лучше – *cremato*. И строенице это – чисто крематорий... – он с трудом слотнул, будто не все слова у него получалось вытащить оттуда, где они возникали. Какие-то оставались не выговоренными. – Все, понимаешь, у них продумано и расписано, чтоб всю нашу сволоту, всех шелкоперов одним махом и без хлопот... С-спалить к чертовой матери. Нравится тебе такая кабастика?

Он уронил окурок, схватился за ветку сирени и неожиданно сел прямо на землю у ее ног. Будто устал держать себя вертикально. Затем внятным, трезвым и тоскливым голосом произнес:

– Тикать нужно отсюда. Тикать. Только куда?

Олеся не стала дожидаться, пока он снова поднимется, – юркнула в подъезд...

Дверь квартиры оставалась открытой, и в свою комнату ей удалось попасть без помех. Из столовой по-прежнему доносились голоса – но много громче, развязнее.

Первым делом Олеся заперлась на задвижку. Затем положила чемоданчик на кровать, открыла висячий замок и откинула крышку. Сердце вздрогнуло и тяжело застучало. Несколько канцелярских папок, помеченных его рукой. Не слишком толстых. Сверху – большая тетрадь в черном коленкоре, от первой и до последней страницы исписанная почерком Хорунжего. Такие он покупал и ей – для конспектов.

Больше ничего там не было.

А на что она надеялась? На записку? На письмо с последними, самыми важными словами? Но даже если Петр и рассчитывал, что чемоданчик в конце концов окажется у нее, он бы не стал ничего такого писать.

Она подождала ровно столько, сколько потребовалось, чтобы справиться с внезапным страхом и слезами. А потом открыла черную тетрадь.

5

«... Не знаю и не хочу вдаваться в технические подробности того, что со мной происходит. Само понятие «технические подробности» тут неуместно. Мальчик, появившийся в моем сознании четыре года назад, в двадцать девятом, когда все мы здесь угорали в попытках понять, с чем связано резкое изменение курса власти, устраивали диспуты, лепили организации, разваливающиеся на глазах, заискивали и каялись неизвестно в чем, научил меня многому. Прежде всего – тому, как спрашивать, чтобы получить ответ.

И если поначалу для этого требовались определенные условия – странные, мягко говоря, – например, наличие грубошерстного свитера с высоким воротом, запаха цитварной полыни, некоторой комбинации слов, со временем и эти условия отпали. Видения, чрезвычайно конкретные, иногда с указанием дат, имен и точного места действия, стали возникать безо всяких усилий с моей стороны. Стоило только правильно спросить.

Определенность этих визий исключает сомнения в их достоверности, словно за ними стоит заверенный свидетелями документ. Ничего расплывчатого и путаного, как бывает во сне. Хотя впервые Мальчик появился на грани сна и яви вскоре после того, как я опубликовал ту самую злополучную статью, в которой шла речь об Украине, России и их будущем, которое казалось мне не совсем таким, как партийному руководству. Я был измучен и, честно говоря, напуган масштабами разразившегося скандала, затравлен, много и беспорядочно пил, а в промежутках находился на грани «сухой горячки».

И все-таки Мальчик не был алкогольной галлюцинацией, тут я могу поклясться. За эти годы некоторые из видений, относящихся к самому близкому будущему, я сумел проверить и получить подтверждения. Поэтому у меня нет оснований сомневаться и в остальном.

Визиты этого странного, во многом не похожего на нас существа всегда были неожиданны и заставляли меня врасплох. Выглядел он почти всегда одинаково – лет семнадцати-восемнадцати, весь в черном, с матово смуглым удлинённым лицом, птичьим профилем и волосами цвета воронова пера. Часто на нем была надета фуфайка с капюшоном, закрывающим голову и часть лица, со множеством карманов. Слева, над клапаном кармана, – вышитая эмблема в виде многопалого листа какого-то смутно знакомого растения, которое я так и не распознал. Хотя вряд ли растение имело отношение к нашим беседам.

Поначалу он возникал из сумрака, цветом напоминавшего кофейную гущу. Это бывает, если крепко зажмуриться после яркого света. В таком сумраке обычно плавают зеленоватые пятна неопределенной формы, светящиеся нити, косые квадраты – дальний отсвет оконных проемов, а я вместо бесформенной чепухи ни с того ни с сего увидел совершенно незнакомое лицо с выражением насмешки и отчужденного превосходства. Потом это выражение ушло, сменившись любопытством. Взгляд стал пристальным, жестким, слишком взрослым и понимающим. Будто он давно знал меня – со всеми потрохами.

Случилось это в подвальном ресторанчике Дома Блакитного в присутствии Сильвестра и администратора Дерлина, который заглянул, чтобы поздороваться с нами и тут же умчался по делам. Официант, подошедший, чтобы забрать карту меню с нашего столика, не в счет.

Затем лицо уменьшилось, будто камера, предьявившая мне его, отъехала, но по-прежнему осталось реальным, буквально физически ощутимым. Я увидел Мальчика таким, каким видел много раз потом, однако фоном для него все еще оставался сумрак, приобретший теперь некую теплую глубину. Позднее, не в этот раз, картинка и фон менялись, и мне удалось разглядеть многое из того, что его окружало, однако сейчас я заметил только небольшой предмет, который мое видение вертело в руках. От предмета исходил голубоватый свет, очерчивая рефлексом скулу Мальчика. В ухе у него болталось что-то вроде крупной серьги из черного пластика, похожего на эбонит.

– Это куда я попал? – спросил он.

Потом подождал и спросил снова:

– В чем дело? Вы чего молчите?

Я удивился, услышав вопрос, но назвалса – не вслух, разумеется, иначе Сильвестр, убеждавший меня, что необходимо остановиться и некоторое время не пить, хотя сам был уже слегка навеселе, счел бы меня спятившим окончательно. К моим словам примешивалось какое-то дальнейшее эхо, будто под сводом черепа образовалась обширная гулкая пустота. Между прочим, точно так же прозвучал и голос Мальчика, когда он подозрительно поинтересовался:

– Это что, прикол?

– В каком смысле? – с недоумением спросил я.

– В самом обычном. Вы меня разыгрываете?

– С чего бы? – Я пожал плечами, поймав при этом подозрительный взгляд Сильвестра. – Разве ты меня знаешь?

– Допустим, – сказал Мальчик. – А теперь еще и вижу. Действительно, на прикол не похоже. Интересно, как это у нас с вами получается?

– Мне тоже. Значит, ты меня видишь? И... и все остальное?

– Да. Более или менее.

– И как тебе?

– Еще не знаю. Не въехал. Похоже на короткометражки фон Триера. Сплошная мизантропия.

– Кто такой фон Триер? Немец?

– Ах, да, извините. Ну это потом, гораздо позже. Вы все равно не доживете. Киношник, датчанин... сложно объяснить. У нас теперь все иначе, другие фишки. Так вы и в самом деле тот самый Хорунжий?

– Фишки?

– Ну. У него там такая себе фирменная безнадега. Игры с живыми людьми, и прочее в том же духе. Примерно как у вас, но он тоже не въезжает. Это ведь совсем не важно.

– А что важно?

– Главное, – он на мгновение оторвал от уха странный предмет и взглянул в крохотное оконце на нем – именно оттуда сочился потусторонний свет, – в том, чтобы относиться к своей персональной реальности так, будто создаешь мир самостоятельно. Но нельзя, чтобы кто-нибудь это заметил. Тогда все.

– Все?

– Да. Тогда ты лопухнулся. То есть проиграл.

– Послушай, – сказал я, – что-то я не понимаю. Откуда ты знаешь, что я не...

– Нет, – мгновенно возразил он. – Не надо. Сейчас это вам ни к чему. Лучше что-нибудь другое. Например, про Святые ворота, хотя к вашей персональной реальности это и не относится. Кто-то же должен знать.

– Святые ворота? Где это?

– Неправильно. Вы должны спросить *как* спросить. Потому что сам я ответить не сумею.

– Я не понимаю, – последние слова я, помимо воли, произнес вслух.

Официант принес потный графинчик, и Сильвестр тут же потянулся к нему, не дожидаясь, пока подадут закуски.

– Чего тут не понять? – ухмыльнулся мой приятель, наполняя рюмки. – Две, не больше, потом супчику погорячее, – все как рукой снимет. И не убивайся ты так, Георгиевич. Есть Бог – подавятся, псы, кол им в пасть.

Я кивнул, продолжая одновременно видеть и Мальчика, и гладко выбритое, по-мужски красивое лицо Сильвестра, капризный излом пухлых губ этого баловня женщин, густую волну светло-русых волос с первой сединой и озабоченные глаза, дальше – пятна на салфетке, пере-

брошенной через локоть прихрамывающего официанта, его косо стоптанные, в трещинах, башмаки, и весь ресторанный зал с низковатыми, недавно выбеленными потолками. В дальнем углу загульная компания во главе с заезжим киевлянином Нео Базлсом второй день пропивала аванс за сценарий для кинофабрики. И все они существовали в одном измерении.

Что-то здесь было не так.

– Хорошо, – сказал я Мальчику, и эхо тут же подхватило: «Ош-шо-о!». – Ладно. А кто знает, как спросить?

– Вы. Вам ведь приходилось в детстве летать во сне? Просто так, по собственному желанию?

– Откуда ты взял?

– Какая разница. Взял, и все. Все летают, кроме полных отморожков. Там было три вещи, вы сами об этом писали. Или напишете.

– Я не помню. Ничего такого я не писал.

– Нужно вспомнить. Без этого ничего не получится.

Я прикрыл глаза. Раз со мной происходят такие вещи, плохи мои дела.

– Худо? – участливо спросил Сильвестр. – Тогда все-таки выпей. Главное – мера! – его палец назидательно взлетел к потолку, хотя говорил он без особой убежденности.

– Серая шерсть, – пробормотал я. – Солдатское одеяло, кажется. И еще полынь на полу, от блох. Чтобы пахло, да... Еще нужно было сказать...

– Ну вот, – возбужденно проговорил Мальчик. – А вы: не помню! Такое всякий запомнит.

– Какая еще шерсть? – теперь уже по-настоящему испугался Сильвестр. – Блохи-то тут при чем? Ты в себе, Георгиевич? Может, к доктору?

– Отвяжись! – Мне вдруг почудилось, что водка спугнет видение и все закончится. Раз и навсегда. Я боялся, Бог свидетель. Возможно, так и следовало поступить, но колебался я не больше секунды: – Пей сам. Ты у нас борец с бытовым пьянством в писательской среде. Фельетоны строчишь. Давай, единоборствуй.

Я до сих пор думаю, что, выпей я в тот день, ничего бы не случилось и уж тем более не имело бы продолжения. Короткое помутнение рассудка – и только. С кем не бывало. Тем более, что о трех условиях, которые я выдумал еще в детстве, знал только я сам. Пустые фантазии. Мне казалось, что, если эти условия выполнить, чтобы все сошлось в одно, можно оттолкнуться от пола и взлететь, зависнув под потолком. Только почему-то никогда ничего не сходило.

Сильвестр покосился, махнул вторую сразу после первой, многозначительно свел брови и стал закусывать сельдью по-домашнему, аппетитно хрустя колечками лука. При других обстоятельствах смотреть на него было бы чистое удовольствие.

– Ну, – сказал я Мальчику. – Допустим, кое-что вспомнил. А теперь?

– Теперь... – он замялся, пошарил в темноте и щелкнул крохотной блестящей зажигалкой. Он курил сигареты – я видел похожие яркие пачки в Австрии и в Германии, но те были много короче. Отставив рюмку, я тоже потянулся за папиросой.

– Горячее подавать? – прорезался официант.

– Тащи, служающий, – велел Сильвестр, взбалтывая содержимое графинчика. – Самое время.

В углу у Базлса весело заревели – один из панфутуристов взгромоздился на стул читать эпохальные стихи, но оступился и был пойман на лету. Что-то разбилось, посыпались осколки.

– Теперь вам нужно уйти. И побыстрее, а то у меня аккумулятор скоро сдохнет.

Про аккумулятор я спрашивать не стал. Имелось кое-что поважнее.

– Иду, – я кивнул и начал выбираться из-за стола.

– Эй, эй, ты куда, Георгиевич? Что тебе загорелось? – взвился Сильвестр.

– Сиди, – сказал я. – Скоро буду.

Главное сейчас – успеть покинуть клуб, не столкнувшись ни с кем из писательской братии. Чуть ли не бегом я поднялся наверх, миновал вестибюль, кивнул швейцару и вылетел на Каплуновскую.

Тихий сентябрьский день скатывался в сумерки. Дворники жгли палую листву, и пахло торжественно, как в церкви в двенадцатый праздник. На углу Пушкинской замедлил ход переполненный трамвай «А». Я вскочил на подножку, цепляясь вместе с гроздью прочих «зайцев» за скользкий поручень, и, несмотря на брань усатой кондукторши-караимки, проехал остановку.

Здесь трамвай сворачивал на Бассейную, поэтому дальше пришлось идти пешком. По левую руку проплыло облезлое здание бывшего коммерческого училища, дальше пошла неразбериха трущоб и закоулков, серые доски, ржавая жесь, шаткие галереи и заросшие травой по колено помойные дворики. Через несколько лет там поднимутся конструктивистские этажерки студенческих общежитий. Ближе к кладбищу поплавром вынырнул над кровлями купол недавно закрытой церкви.

Я свернул в пролом кладбищенской ограды и зашагал между старыми могилами. Мальчик все время был со мной. Похоже, он и в самом деле мог видеть то, что видел я сам, и его худощавое смуглое лицо горело любопытством.

– Это Первое городское? – вдруг спросил он.

Я кивнул – ответ разумелся сам собой.

Мальчик тихонько засмеялся. Этот его смех звучал у меня в ушах, пока я огибал обветшавшие ограды, пробираясь к помпезной усыпальнице неких Голлерштейнов. Давным-давно взломанный и разграбленный склеп использовали для ночлега беспризорные, но рядом имелась удобная скамья – исцарапанная похабными надписями плита розоватого мрамора, опирающаяся на консоли с завитушками. Сюда мы иногда забредали то с Павлом, то с Сильвестром, а то и втроем, когда нужно было потолковать без посторонних.

– Забавно, – наконец произнес Мальчик.

– О чем ты?

– Здесь, совсем рядом... – он внезапно умолк, будто откусил конец фразы.

Я не стал допытываться. Рядом ничего примечательного не было. Просто старая часть кладбища. Здесь уже не хоронили, и только на западной окраине, у главного входа, где еще оставалось место, иногда появлялись свежие могилы. Преимущественно тех, кто имел отношение к революционному движению.

Словно прочитав мои мысли, он спросил:

– Но ведь и вы были когда-то революционером, верно?

– Не знаю, – я опустил на скамью. Двери склепа стояли нараспашку, замок сорван, внутри сырой мрак. Маленький чугунный ангел со скрипкой справа от дверей утопал в зарослях сухой кладбищенской полыни. Его лицо странно смешивалось в моем сознании с лицом Мальчика. – Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Революционер, строго говоря, – это тот, кто способен принять вызов беспощадного мира и ответить с еще большей жестокостью. Для этого нужна храбрость особого рода. У меня ее никогда не было. Я слишком рано почувствовал себя писателем.

– Писателем! – насмешливо подхватил он. – Как по мне, так писатели гораздо хуже всяких революционеров. И честолюбивее, по крайней мере, в глубине души. Кто, если не вы, поддерживает веру в тот бардак, который здесь творится? Между прочим, у нас это называется креативной деструкцией.

– Где это – у вас?

– Какая разница. Времени осталось в обрез. Давайте-ка ближе к делу. Свитер ваш вполне подходит, полыни вокруг сколько угодно, осталось только вспомнить слова. Ну?

Я непроизвольно пошевелил шей, ощущая легкие уколы шерстяной пряжи. Потом наклонился, сорвал несколько серебристых метелок, размял в руке и поднес к лицу. Сумерки постепенно затапливали проходы между могилами, очертания сиреневых кустов позади склепа стали совсем размытыми. Запах оказался густой, плотский, с ядовитой горечью. Но и только. Скороговорка, привязавшаяся в детстве, никак не давалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.